Федеральное агентство по науке и инновациям
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО Иркутский государственный университет
Кафедра археологии, этнологии, истории древнего мира
Научно-Исследовательский Центр геоархеологических, этнологических изысканий и науковедения «Байкальский регион»

М.Г. ТУРОВ

ЭВЕНКИ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Иркутск
издательство “Амтера”
2008 г.

УДК 39(57)
ББК Т4(2Р5)

Печатается по решению Совета исторического факультета ГОУ ВПО Иркутского государственного университета, НИЦ геоархеологических, этнологических изысканий и науковедения «Байкальский регион»

М.Г. Туров **Эвенки. Основные проблемы этногенеза и этнической истории. – Иркутск: Изд-во “Амтера” 2008 г. 228 с.**

Монография М.Г. Турова представляет результаты тематического исследования проблемы в течение 1997-2007 годов. Впервые в отечественной историографии тунгусоведения автор анализирует и обобщает в виде рабочей гипотезы практически полный объем проверенных временем антропологических, археологических, лингвистических и этнографических данных, критически осмысливает предшествующие концепции и взгляды отечественных исследователей. Предлагаемая работа может быть полезна как широкому кругу ученых-сибиреведов, так и всем читателям, интересующимся историей становления и развития коренного населения Сибири и Дальнего Востока. Результаты исследований М.Г. Турова, очевидно, найдут практическое применение в решении современных проблем экономического, социального и этнокультурного развития коренных этносов.

Отв. редактор: **Зав. каф. археологии, этнологии, истории древнего мира ИГУ, д-р ист. наук, профессор Г.И. Медведев**
Рецензент: **в.н.с. Института истории, археологи и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, к. ист. наук В.А. Тураев**

ISBN 978-5-91344-072-3

© Туров М.Г., 2008.
© ГОУ ВПО Иркутский гос. университет., 2008.
© Издательство «Амтера», 2008.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4

Глава 1. История исследований проблемы этногенеза эвенков 14

Глава 2. Ранние этапы этногенеза. Архаические основания физического типа, языка и культуры эвенков-тунгусов 50

2.1. Предварительные замечания 50

2.2. Происхождение физического типа эвенков-тунгусов по данным классической антропологии 55

2.3. Архаическая основа физического типа эвенков- тунгусов по результатам исследований генофонда монголоидов Северной Азии 74

2.4. Архаическая основа языка современных эвенков 91

2.5. Голоценовые антропогеоценозы и формирование вариантов хозяйства и культуры современных эвенков 122

Глава 3. Этнографические данные о финале этногенеза и началах этнической истории эвенков 159

Заключение **177**

Приложения **184**

Список сокращений **205**

Источники и литература **206**

Введение

Считается очевидным, что самоидентификация сформировавшейся этнической общности базируется на общепринятой парадигме «один этнос - один этноним». Случаи бытования двойного наименования общности известны, но одно из них, как правило, существует и воспринимается общностью как «чужое», пришедшее со стороны инородных по происхождению соседей. Тот факт, что до настоящего времени объект нашего исследования в публицистике, в обыденной речи и в солидных научных изданиях, обозначается двумя названиями «эвенки – тунгусы» порождал и до сих пор порождает массу вопросов.

Название «тунгусы», как известно, было введено в официальное употребление и научный оборот в первой половине XVII в. и обозначало все этнографические группы тунгусоязычного населения Сибири и Дальнего Востока. Лишь в публикациях последней четверти XIX в. наименование «тунгусы» обретает классификационное значение и с уточнением – «северные» закрепляется за двумя близкими по культуре и генетически родственными этносами[1].

Можно предположить, что употребление в научной терминологии двойного названия данной этнической общности свидетельствует о косвенном признании того, что общее самоназвание – этноним, как признак сложившейся формы личностной и групповой этнической идентификации, еще не оформился. Впрочем, нельзя исключить и того, что бытующее в научной литературе двойное название призвано подчеркнуть общие исторические корни эвенков и остальных тунгусоязычных этносов Сибири и Дальнего Востока.

---

[1] Официально введенный в 1930-1931 г.г., этноним «Эвенки» выделял группы тунгусоязычных «пеших» и «оленных» охотников Сибири в самостоятельную «народность» и отделял их от близких по культуре «Эвенов – ламутов». Однако, название «тунгусы», как общее наименование эвенков и эвенов, до сих пор бытует в научной литературе (см. в частности – Туголуков, 1985).

Вхождение Восточной Сибири в состав России и обусловленное им хозяйственное (аграрное и индустриальное) освоение таежной и подтаежной зон так называемым «некоренным» населением, безусловно, стимулировали массовые миграции эвенкийских групп за пределы прежде осваиваемых территорий. Уже к середине XIX в. южные лесостепные районы Прибайкалья и Забайкалья, конкретно - пригодные для земледелия и скотоводства участки речных долин, были достаточно плотно заселенны русским крестьянством и либо полностью выпали из традиционной сферы хозяйственной деятельности, либо осваивались небольшими, переходящими к оседлости группами эвенков.

Очевидно уже к началу XX в. основная масса эвенков-тунгусов на большей части территорий Сибири и Дальнего Востока обживала зоны смешанного по этнокультурному составу населения, а общая площадь осваиваемых традиционными методами охотничье-оленеводческого хозяйства угодий существенно сократилась. В настоящее время, даже по сравнению с 1940-ми гг., существенные изменения наблюдаются и в формах хозяйственного освоения закрепленных за эвенками «родовых угодий». Как правило, они административно и экономически привязаны к «русским» поселениям и расчленены обширными территориями потребительского и товарного освоения таежных ресурсов русским старожильческим и иным «некоренным» населением.

Переход большей части эвенков к оседлости сопровождался тем, что традиционный круглогодичный метод освоения охотничьих и оленеводческих угодий замещался сезонными («экспедиционными») методами, аналогичными методам ведения промыслового хозяйства пришлого «русскоязычного» населения. Вместе с тем, экономика и культура большей части «сельского» эвенкийского населения по-прежнему базируются на вошедшем в «традицию» пушном товарном промысле, потребительской зверовой охоте и

рыболовстве, обеспечивающем эффективное ведение этих отраслей хозяйства оленеводстве транспортного назначения, а удельный вес этих отраслей хозяйства в структуре жизнеобеспечения семей как и в начале XX в. остается достаточно высоким (Народы России… 1994). Гораздо меньшие по численности локальные группы и отдельные семьи «кочевых» эвенков, по нашим материалам, еще в середине 1980-х гг. сохраняли основные методы организации охотничье-оленеводческого хозяйства, структуру постоянных и временных поселений, типы жилых и хозяйственных построек, бытового и производственного инвентаря, восходящие к раннему периоду русского заселения Сибири.

Сложившаяся к XVII в. структура дисперсного расселения диалектных подразделений и соседских общин эвенков сохранялась на всем протяжении «русской» истории Сибири. До середины XX в. отдельные общины эвенков были отделены друг от друга огромными расстояниями. Как следствие этого, масштабы социальных, экономических и культурных связей между локальными диалектными и территориальными объединениями эвенкийских родовых общин ограничивались периодическими, крайне нерегулярными прямыми контактами, что, в свою очередь, определяло достаточно вялое течение процесса этнической консолидации.

Как известно, в XVIII-XIX вв. территориальные общины тунгусов осваивали разнообразнейшие биотопы и демонстрировали разные варианты традиционного природопользования, соответствующие:

- хозяйственно-культурному типу (ХКТ) «высших подвижных охотников - оленеводов»;

- ХКТ частично перешедших к приусадебному огородничеству охотников – рыболовов;

- ХКТ оседлых рыболовов-охотников «морских побережий» и долин крупных речных систем;

- ХКТ так называемых «скотных/конных тунгусов», заимствовавших из среды монголоязычных народов навыки ведения скотоводческого хозяйства.

Следует, очевидно, полагать, что отсутствие регулярных социальных связей между разнесенными на громадные расстояния территориальными общинами эвенков до сих пор сохраняется и является существенным препятствием на пути формирования «общенационального» самосознания, общего этнонима, т.е. завершения процесса «этногенеза». Очевидно, высокая мобильность тунгусов, чрезвычайно высокая дисперсность расселения локальных групп, огромный ареал расселения и другое определяют сложность их стационарного изучения и являются причинами того, что уровень знаний по отдельным «этноинтегрирующим» характеристикам эвенкийского социума до настоящего времени отличается крайней неравномерностью.

Наиболее полный объем данных накоплен по языку и антропологии. Гораздо менее изучены локальные варианты хозяйственного использования промысловых и оленеводческих угодий. Весьма невелик по объему и фрагментарен банк данных о материальной и духовной культуре (за исключением фольклора), особенностях социальной организации и традициях в организации «жизнеобеспечивающего пространства». Во всяком случае объем знаний по этим направлениям этнографии эвенков существенно менее значителен, нежели соответствующие отрасли этнографических данных по ряду других типологически близких, но более компактно расселенных этнических общностей Сибири.

Думается, что актуальность очередного обращения к проблемам этногенеза и культурогенеза эвенков определяет не только отсутствие четкого ответа на вопрос «эвенки – кто вы, этнос или этнокультурная общность?». Не только тем, что новый уровень понимания общих законов и механизмов становления и развития этно-

сов и культур требует переосмысления и коррекции действующих концепций этногенеза и «этнической истории».

В значительной степени возврат к проблеме этногенеза эвенков определяется той общественной значимостью знаний об «исторических корнях» этноса, интерес к которым сегодня прослеживается как на бытовом уровне, так и в практике социального, экономического и этнокультурного саморазвития коренных народов российского Севера. Особую актуальность эта проблема обретает в условиях обостренного интереса «постсоветских» социумов к проблемам своего происхождения, формирования откровенно политического заказа на «научное обоснование» приоритетных прав титульных этносов на мыслимые и немыслимые богатства их «исторической прародины» (Тишков, 2003, с. 11-12).

Источниковая база настоящего исследования была заложена еще трудами ученых-тунгусоведов XIX-XX вв. Тунгусоведение «советского периода», особенно в 1950-1960-х гг., характеризуются не только существенным приращением объема этногенетических данных, но известными успехами в разработке теоретических проблем этногенеза, формирования и эволюции культуры. Очевидно, можно считать, что до начала 1990-х гг. исследования по этногенезу в значительной степени, направлялись не только методологическими и теоретическими разработками отечественной этнографии, но и теми «идеологическими» установками, которые определяли «государственное» значение работ в этом направлении.

В известной мере именно «государственные интересы» явились одной из причин того, что конечные цели этногенетических изысканий замыкались на решении таких проблем как доказательство автохтонности тунгусов (палеосибирской локализации их «исторической прародины»), генетической связи современных языков и культуры «северных тунгусов» с языками и культурами древних общностей эпох неолита – раннего железного века. Собранный по

этим программам материал огромен, а число схем «восхождения» современных эвенков и эвенов от древней генетической основы, разработку которых кроме этнографов вели антропологи, лингвисты и археологи, тоже достаточно велико. Значительно меньше до сих пор изучена и осмыслена проблема современного статуса эвенкийской общности, т.е. её положения в иерархии этнических общностей.

Вместе с тем, очевидно, по указанным выше причинам разработки проблемы этногенеза тунгусов-эвенков, несмотря на достаточно обширную историографию и достаточно большой объем «этногенетических данных», концептуально по всему спектру проблем ранних этапов формирования антропологического состава, языка и культуры, начала и, главное, завершения процесса консолидации эвенкийской этнической общности до сих пор остаются в стадии первичных «рабочих» гипотез.

Нет очевидной необходимости в доказательстве того, что огромный вклад ушедших и ныне здравствующих тунгусоведов в разработку проблем этногенеза и этнической истории эвенков огромен. Вместе с тем количество вопросов и «белых пятен» в знаниях об этногенезе и этнической истории эвенков, на наш взгляд, не уменьшилось, а возросло. Общая объективная оценка всего того, что было достигнуто за почти 200-летнюю историю изучения этих проблем, ревизия многочисленных рабочих гипотез и отдельных концептуальных положений отнесены нами в специальный раздел работы, однако уже в предварительном виде можно констатировать, что работы в указанном направлении на протяжении всего «советского периода» движутся по некоему замкнутому кругу.

Главным звеном этих исследований и концепций, их конечной целью являются безуспешные поиски:

а) как минимум древних энеолитических основ физического типа, языка и культуры;

б) «исторической прародины» или локализующегося в рамках

ограниченной территории того «первичного очага», в котором завершилось формирование и из которого распространились по всему пространству Восточной Сибири и Дальнего Востока общие «родоначальники» современных эвенков.

В целом же представляется, что методология существующих концептуальных решений проблемы этногенеза эвенков в принципиальной основе повторяет «библейские схемы генеалогий» народов, основание которых представлено некими легендарными «прародителями».

Привлечение данных антропологии, лингвистики и археологии, как известно, является традиционной нормой и правилом всякого, соответствующего «комплексному подходу», исследования проблем этногенеза. Вместе с тем, в конкретных этногенетических штудиях «комплексный метод», как правило, сводится к целевому подбору тех междисциплинарных данных, которые, на взгляд очередного автора, считаются наиболее репрезентативными аргументами, органично вписывающимися в традиционные парадигмы происхождения и эволюции этноса.

В нашем понимании «комплексный метод» этногенетического исследования, прежде всего, подразумевает плюрализм взаимодействующих гетерогенных данных, образующих в определениях этнического целого систему этногенетических полей и этноинтегрирующих связей.

С этой точки зрения предшествующие попытки реконструкции этногенеза эвенков (тунгусов вообще), на наш взгляд, характеризует одна общая принципиально неверная посылка - интерпретация существа проблемы через призму первоначального генетического ядра «протоэвенков», то есть развития свойственных ему в древности корневых основ физического типа и культуры современных эвенков. Тем самым, начало этногенеза эвенков-тунгусов определяется не всей совокупностью антропологических, лингвистических,

археологических и собственно этнографических данных (что и предусматривает «комплексный метод), а лишь той их субъективной выборкой, которая соответствует территориально замкнутому пространству древней эндогамной популяции, выделенной по результам антропологических исследований.

Подобный подход к исследованию проблемы, на наш взгляд, противоречит сформулированному в начале 20-х гг. прошлого века и неодократно подтвержденному последующими теореретическими исследованиями тезису о конвергентности процессов генезиса атропологического типа, языка и культуры, об отсутствии прямой связи между наличием признаков близости и родства в «этнообразующих» характеристиках ряда их носителей – некоей совокупности «этнографических групп» и завершением процесса этногенеза, появлением общего осознания своей этнической целостности, выраженном в общем этнониме. Ниже будет показано, что бытующие конструкции ранних этапов этногенеза эвенков, страдают вольной интерпретацией существа «комплексного подхода». Все без исключения авторы известных нам концепций, опуская безусловно необходимый этап детального анализа всей совокупности этногенетических данных, априори исходят из предположения, что совместимость ареалов обитания древних и современных носителей аналогичных комплексов признаков в антропологии и материальной культуре связаны восходящими линиями родства и образуют автохтонную общность тунгусоязычных «бродячих» охотников–рыболовов.

Новизна предпринятого нами исследования состоит:

- во-первых, в углубленном анализе всего накопленного к настоящему времени банка данных в области физической антропологии и популяционной генетики, лингвистики, археологии и этнографии безотносительно к поиску признаков генетического родства между их древними и современными носителями;

- во-вторых, в поиске доказательств того, что современные эвен-

ки есть не столько результат эволюционного развития «нуклеарной предковой основы», сколько консолидации ряда близкородственных по происхождению, языку и культуре территориально, социально и экономически изолированных этнографических групп;

- в-третьих, в обосновании предположения, что завершение процесса этногенеза эвенков, в буквальном смысле - формирование всех ныне существующих признаков этноса, имело место в относительно поздний период новейшей истории;

- наконец, в-четвертых, рассматривая проблему корневых оснований антропологического типа, языка и культуры современного этноса, определяя хронологические и территориальные рамки «этногенетического ядра» эвенков-тунгусов, мы предлагаем свой опыт анализа и обобщения не только новейшего, но и всего накопленного на сей день банка этногенетических данных. Новизну настоящему исследованию отчасти придает приведение изучения этногенеза эвенков в соответствие с современными концепциями в теории этничности и культуры. Промежуточные итоги работы в этом направлении опубликованы в ряде статей (Туров, 1998 а; 1998 б; 2003).

Цель данного исследования, прежде всего, состоит в анализе и осмыслении уже сделанного на длительном пути сбора данных и предложения решения проблемы этногенеза эвенков. Обращаясь в очередной раз к этим проблемам, мы ясно осознаем, что в ряде вопросов мы не оригинальны и отталкиваемся от тех идей и выводов, которые подготовлены для нас трудами многочисленных предшественников - профессиональных антропологов, лингвистов и других представителей смежных наук. В этом смысле, наше исследование компилятивно и никоим образом не претендует на то, чтобы подняться выше очередного, пусть даже оригинального, толкования проблемы.

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение **следующих задач**:

- отбор всего того рационального, что содержат взгляды предшественников;
- поиск консенсуса между взаимоисключающими гипотезами и положениями;
- наконец, предложение своего, очевидно, не бесспорного варианта и способа решения заявленных проблем.

Глава 1. Из истории изучения проблемы

Первые этнографические сведения о «бродячих» охотниках таежного Прибайкалья-Забайкалья, в интерпретации отечественных этнографов-тунгусоведов сопоставимых с «предками» современных северных тунгусов, как известно, появляются в записках Рашид-ад-Дина (1952), в китайских исторических хрониках (Кюнер, 1961; Бичурин, 1950-1953) и путевых заметках европейских путешественников XII века (Плано Карпини, Рубрук). «Тунгусоязычные» группы упоминаются как автохтонные, самостоятельные народы, отличающиеся от остального населения Сибири и Дальнего Востока особенностями языка, охотничье-рыболовецкого хозяйства и содержанием небольших по размерам стад домашних оленей.

Однако целенаправленное изучение тунгусов, систематические сборы этнографических данных и их публикация в общих описаниях состава аборигенов Сибири начинаются лишь со второй половины XVII – начала XVIII веков. Собирание сведений об «инородцах Сибири» представляло собой одну из общих задач краеведческого изучения «восточных провинций» России и, очевидно, преследовало сугубо утилитарные цели, а именно, составление более или менее точных сведений о размещении и численности потенциальных поставщиков товарной пушнины.

Тем не менее, отчеты «служилых людей», пояснения к первым картам Сибири (А.Ф. Палицин, И. Москвитин, С.У. Ремезов), путевые заметки российских послов в Китай (И. Идес, А. Бранд, Н. Спафарий) и, особенно, записи из дневников А. Каменского-Длужика (Полевой, 1965) дают достаточно полные по тому времени описания особенностей языка, физического типа, основных видов хозяйственных занятий и быта северной ветви тунгусо-маньчжуров. В целом же, XVII век справедливо именуется «периодом собирания материалов, не чуждый, однако… и некоторых вытекающих из

этого материала обобщений» (Лашук, 1989). Так, уже в конце XVII в. Н.К. Витсен публикует первую сводку систематизированных им сведений о населении Сибири[2], в котором вполне уверенно выделяет северных тунгусов (эвенков и эвенов) в отдельное языковое подразделение тунгусоязычных народов.

Среди многочисленных, относящихся к первым десятилетиям XVIII в. публикаций сведений о северных тунгусах следует особо отметить труды английского путешественника Дж. Белла Артемонского. По оценке Э.П. Зиннера, дневниковые записи Дж. Белла отличаются от предшествующих работ тем, что содержат по преимуществу результаты собственных путевых наблюдений. Внимание Дж. Бэла в первую очередь привлекают не столько «экзотические» для европейского восприятия особенности языка, физического типа и культуры встреченных им народов, сколько те черты тунгусов, которые сегодня принято называть этнодифференцирующими. Э.П. Зиннер полагает, что труды Дж. Белла, по методам собирания этнографических материалов, по глубине и научности их анализа и обобщения, в чем-то предвосхищали публикации отчетов академических экспедиций Д.Г. Мессершмидта, С. Гмелина, и Г.Ф. Миллера, закладывали основания последующему научному этнографическому (в прямом смысле этого слова) сибиреведению (Зиннер, 1968, с. 43).

Очевидно, именно Дж. Белл первым предположил, что обследованные им группы ангарских эвенков – «**потомки древних обитателей Сибири**…(здесь и далее выделено нами – М.Т.) отличаются по языку, манерам и одежде, а также внешности и стану от всех племен…», с которыми он имел возможность познакомиться. Особый интерес в характеристике ангарских тунгусов Дж. Белла вызывают его замечания по поводу обычая татуировки. «Я видел много

---

[2] Рукопись Н.К. Витсена «Северная и восточная Татария», в переводе В.Г.Триссман, хранится в Архиве Ленинградской части И-та Этнографии АН СССР.

мужчин с овальными знаками вроде колец на лбу и щеках и иногда знаки, напоминающие ветви деревьев, идущие от угла глаз до рта. Они наносятся в детстве, прокалывая эти части лица иглой, и натирают их древесным углем…» (Зиннер, 1968, с. 52).

Примерно с 20-х гг. XVIII в. этнографическое изучение тунгусов и публикация материалов приобретают регулярный характер. Их исполнители являются сотрудниками экспедиций российской Академии наук, планирование, руководство и материальное обеспечение которых осуществляется центральными государственными учреждениями (Там же, с. 141). Среди публикаций материалов экспедиций, очевидно, следует выделить отчет Д.–Г. Мессершмидта (Титова, 1978, с. 6-7, 12-13). Кроме разнообразных сведений о хозяйственной деятельности, обычаях и культуре эвенков р. Нижняя Тунгуска, Д.-Г. Мессершмидт указывает на то, что, как и ангарские тунгусы, встреченные им группы «тоже сильно татуируют свои лица, при чем мужчины – продольными линиями, а женщины всякого рода «круглыми фигурами»… Зато верхнеленские тунгусы с р. Илги (южный диалект – М.Т.) и даурские тунгусы… (группа «конных» эвенков Забайкалья – М.Т.) татуировки не знают». Обращают на себя внимание записанное Мессершмидтом в Туруханске и распространенное им на все родовые общины оленеводов Нижней Тунгуски название Orotong, и название «хундысал («хозяева собак»), которому соответствуют группы безоленных эвенков, населяющих верхнюю часть бассейна этой же реки[3].

В XVIII в. среди исследователей народов Сибири сложилось убеждение в том, что «материнский язык», формирующийся в самом

---

[3] Следует подчеркнуть, что употребляемый Д.-Г. Мессершмидтом термин «оленные» вряд ли можно соотносить с принятым вслед за И.Г. Георги и Г.М. Василевич наименованием восточной диалектной общности эвенков-орочонов. К середине XVII в. эвенки верховий Нижней Тунгуски потеряли большую часть оленей и перешли к оседлости.

раннем периоде жизни человека, «легче других частных признаков поддается анализу и проверке» и по этой причине является «наиболее важным показателем этнической принадлежности индивида и группы» (Гурвич, 1975, с. 5; Нитобург, 2005, с. 12). Так например, Г.Ф.Миллер в категорической форме заявлял, что «***самыми вескими*** (выделено мной – М.Т.) доказательствами происхождения того или иного народа являются те, которые основаны на его языке». Включая в категорию доказательств кроме бытовой лексики и географических названий фольклорные данные, Г.Ф. Миллер утверждает, что северные тунгусы являются древнейшими автохтонами той территории, «на которой они обитают и поныне» (Миллер, 1937, с. 12).

С первой половины XVIII в. основанные на специфике языка доказательства особого положения тунгусов в структуре населения Северной Азии дополняются постепенно нарастающим числом пока лишь визуальных наблюдений особенностей физического типа (см., например: Линденау, 1983, с. 81). Так в оригинале рукописи Г.Лангаса «Собрание известий о начале и происхождении различных племен инородцев в Иркутской губернии проживающих» (Гурвич, 1975, с. 6; он же, 1980, с. 3) высказываются первые аргументированные соображения по поводу того, что «северные тунгусы (эвенки и эвены) происходят от «общего корня».

Очевидно, уже в этот период среди ученых сибиреведов сложилось убеждение в том, что северные тунгусы уже в древности представляли собой единую этнокультурную общность, занимавшую изолированное положение в структуре всех тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока. С другой стороны, те же этнографические характеристики позволяли выделять в составе северных тунгусов ряд локальных этнографических групп (рис. 1). Так, по типу хозяйственной деятельности И.Г. Георги выделял среди них группы оленеводов, звероловов (охотников),

коневодов и «скотных», относя к последним монголизированные общины и роды Забайкалья-Приамурья. По виду используемых в хозяйственных целях транспортных средств им же были выделены группы «конных», «оленных», «лодошных - пеших и «собачьих - *хундысал* (Георги, 1799).

Можно, очевидно, полагать, что руководствуясь программными установками Г.Ф. Миллера и В.Н.Татищева на сплошное этнографическое обследование автохтонов Сибири, ученые-сибиреведы XVIII в. формировали основания сравнительно-исторического метода исследований и источниковую базу научного метода решения проблем этногенеза тунгусов (Лашук, 1989, с. 12, 23, 29).

Следующий XIX в. и первые десятилетия XX столетия традиционно рассматриваются как период становления отечественной этнографии. Время ее выделения из общего географического (краеведческого) изучения стран и народов, очевидно, можно сопоставлять с созданием Русского императорского географического общества и его Восточносибирского отдела (1845 – 1861 г.г.). Для научной жизни России это событие явилось неким поворотным пунктом, от которого этнографическое изучение народов Сибири выходит на междисциплинарный уровень и приобретает комплексный характер.

Очевидно, во многом это определялось тем, что первым председателем ИРГО был избран естествоиспытатель, академик К.М. Бэр. Разработанная им общая программа этнографического изучения «инородческого» населения Сибири, ставила задачи изучения «разных племен, обитающих в нынешних пределах государства, со стороны физической, нравственной, общественной и языковедческой». С одной стороны, программа К.М. Бэра наследовала направления исследований XVIII столетия, с другой отличалась от них тем, что в ее теоретической части были заложены

взгляды самого К.М. Бэра о взаимосвязи культуры и быта народов со средой их обитания (Бромлей, Токарев, 1988, с. 24; Сабурова, 1977, с. 5-6).

Достижения членов Географического общества в этнографическом сибиреведении XIX в. и в формировании комплекса данных по этногенезу эвенков достаточно подробно освещены в юбилейной подборке статей, изданных к 125-летию ИРГО (Очерки истории русской этнографии…, 1977), а также в специальных работах ведущих отечественных этнологов (см., в частности: Василевич, 1969, с. 23-30; Дебец, 1977, с. 207-224; Иванов, 1978). Учитывая это, укажем лишь, что трудами профессиональных ученых и «любителей сибирских древностей», среди которых особенно выделяются имена В.Л. Серошевского, И.Д. Черского, В.И. Иохельсона, Л.Я. Штернберга, В.Г. Богораза и других, российская этнография к рубежу XX в. и в теоретическом, и в методологическом отношении оформилась как самостоятельная наука, а изучение проблемы происхождения северных тунгусов завершилось предложением к обсуждению сразу трех альтернативных гипотез (Туголуков, 1980, с. 152-153):

- гипотеза автохтонного палеосибирского происхождения северных тунгусов, сторонником которой во второй половине XIX в. остался лишь А.Ф. Миддендорф (1860-1869);

- опубликованная в трудах Ф.И. Страленберга, И.Г. Георги и И.Э. Фишера гипотеза маньчжурского очага формирования прототунгусов, поддержанная Н.Я. Бичуриным, М.А. Кастреном и Л.И. Шренком;

- третья группа исследователей, в которую входили Г.И. Спасский, В.Горский и К. Гикиш, как и А.Ф. Миддендорф, считала тунгусов древними автохтонами Сибири, однако помещала их «историческую прародину» в лесостепных районах южного Прибайкалья и верхней части бассейна Амура.

Накопленный к концу XIX в. объем привлекаемых к этногенетическим реконструкциям материалов, безусловно, был огромен. Вместе с тем, теоретическая база изучения проблем происхождения бесписьменных народов (как, впрочем, и общая теория этноса) еще находились в стадии развития, а сами по себе методы анализа и сопоставления ведущих этногенетических данных - лингвистики и антропологии, были еще далеки от совершенства.

Очевидно, решающее значение в определении ближайших по происхождению предков тунгусов и, соответственно, географического местоположения «исторической прародины» эвенков и эвенов имел в это время индивидуальный опыт сопоставления доступного исследователю банка языковых, этнографических и антропометрических данных, ограниченного сведениями тех локально-территориальных групп, среди которых тот или иной автор производил сборы полевого материала.

Быть может, по этой причине, та или иная гипотеза происхождения тунгусов и расположения их «исторической прародины» основывалась не столько на фактах, выстроенных в строгую систему доказательств, сколько на субъективных, по существу, априорных взглядах исследователей, абсолютизирующих выявленные ими сходства и различия в языках, физическом типе и культурах сравниваемых этнических общностей. На наш взгляд, определенное влияние на взгляды сторонников той или иной гипотезы происхождения тунгусов оказали столь же априорные и достаточно вольно интерпретируемые представления об «алтайской общности» тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков[4], которая считалась предковой основой для всех входящих в нее общностей Северной и

[4] Как полагает Л.Л.Викторова (1980, - С. 70), «родство между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками» было установлено во второй половине XIX – начале XX в., однако сама проблема формирования алтайской семьи языков, возведения ее к общему праязыку до настоящего времени остается «остродискуссионной».

Центральной Азии.

Так, например, К. Гикиш, систематически доказывавший связь «исторической прародины» тунгусов с южными подтаежными районами Прибайкалья и верховий Амура, отождествлял их предков с группой охотников-оленеводов, входивших в состав племенного союза «кидани» и оставшихся в Приамурье после разгрома киданей чжурчженями. Следует заметить, что согласно бытовавшему в то время мнению, «кидани» в целом и, соответственно, входившие в него группы горно-таежных охотников считались тунгусоязычными.

Близкой по взглядам, отличающейся лишь в выборе лексических параллелей - дефиниций этногенетических корней тунгусов, очевидно, являлась «маньчжурская гипотеза». В качестве доказательств такого местоположения «исторической прародины» тунгусов привлекались материалы лингвистических исследований М.А. Кастрена и Л.И. Шренка (Шренк, 1883), точнее обнаруженные ими лексические параллели в языках южной (среднеамурской) группы эвенков и маньчжуров. Исходя из этого, исследователи полагали, что все тунгусоязычное народы Приамурья являются потомками древних тунгусоязычных обитателей Маньчжурии, мигрировавших в северном направлении под давлением китайцев и расселявшихся в таежном пространстве Сибири и Дальнего Востока. Соответственно, время переселения «предков тунгусов» должно было предшествовать «китаизации» языка древних тунгусо-маньчжурских обитателей бассейна рек Уссури и Сунгари.

Все три гипотезы были представлены в трудах отечественных этнографов-сибиреведов едва ли не до середины 1930-х гг. Так, идея автохтонного, палеосибирского центра этногенеза северных тунгусов отстаивалась в работах Г.В. Ксенофонтова (1992, с. 203-213) и А. М. Золотарева (1939). Подтаежная зона Прибайкалья-Приамурья и смежные им лесостепные районы Монголии продолжали считать-

ся исторической прародиной тунгусо-маньчжуров в трудах Ю.Д. Талько-Грынцевича и В.И. Сосновского (Талько-Грынцевич, 1904; Сосновский, 1929, с. 187-192). Однако, наиболее разработанной и сохранившей свое ведущее положение в течение первых трех десятилетий XX в. стала «маньчжурская» гипотеза. С незначительными, по сравнению с материалами XIX в., изменениями и добавлениями она была изложена в трудах П.П. Шмидта и С.М. Широкогорова.

Основная научная деятельность П.П. Шмидта была направлена на сравнительно-историческое изучение южной подгруппы тунгусо-маньчжурских и китайского языков. Исходя из собранных им лингвистических данных и ссылаясь на исторические и некоторые археологические источники, П.П. Шмидт полагал, что прародина тунгусов располагалась где-то в смежных Маньчжурии северо-восточных районах Монголии. Ближайшими соседями предков тунгусов П.П. Шмидт считал группы «палеоазиатов» (в которые он включал корейцев), а также неоднородное в культурном и языковом отношении население средневекового государства Бохай[5].

Более обстоятельно «маньчжурская» гипотеза была рассмотрена в одной из работ С.М. Широкогорова (Shirokogorov, 1929, p. 1-3, 120-123, 141-147). Теоретическую и методологическую основу гипотезы составляло разработанное им определение понятия «этнос» и сформулированные положения об основных механизмах формирования и «изменения этнических и этнографических явлений» (Широкогоров, 1923, с. 13). Прежде всего, следует указать на критическое отношение С.М. Широкогорова к распространенным в его время попыткам рассматривать факты языковой общности этносов в качестве доказательств их происхождения от общей предковой основы. Язык и культура, по С.М. Широкогорову, есть совокупность вошедших в этническую традицию «явлений и элементов, имеющих

[5] Следует признаться в том, что наши представления о взглядах П.П. Шмидта базируются лишь на сообщениях С.М.Широкогорова (1929, с. 142).

по времени различное происхождение и значение» (Там же, с. 21).

Оригинальная концепция С.М. Широкогорова была опубликована в эмиграции в 1926 году и включала материалы более ранних полевых этнографических наблюдений, произведенных среди дауров, солонов, оленеводческих и скотоводческих (Nomad Tungus) тунгусоязычных групп Забайкалья, а также среди «оленных» тунгусов Маньчжурии и собственно маньчжуров. К разработке проблемы этногенеза тунгусов были привлечены новейшие (по тому времени) лингвистические материалы исследований лексики амурских тунгусов К. Гикиша, антропологические и археологические источники, а также сведения из средневековых исторических хроник Китая.

С.М. Широкогоров полагал, что первичный очаг формирования предков северных тунгусов, из которого началось их продвижение на север, располагался в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы. По мнению С.М. Широкогорова на это прямо указывало следующее:

1. Данные эвенкийских героических сказаний, в которых племена тунгусоязычных (по определению К. Гикиша) киданей, обитавшие в северо-восточных провинциях Монголии и в Маньчжурии, назывались родственными по языку соседями восточных эвенков - «пеших охотников на оленей».

2. Распашной тип одежды северных тунгусов, который якобы не был приспособлен к климатическим условиям Сибири, а его сходство с покроем детского костюма населения северо-восточных провинций Китая свидетельствовало, что такой тип одежды имеет южное происхождение. В ходе миграции на север и освоения таежных пространств Сибири этот тип костюма был модифицирован, приспособлен к новым условиям за счет включения мехового нагрудника.

3. На южное (маньчжурское) происхождение северных тунгусов указывало наличие в их культуре (точнее у обследованных самим Широкогоровым групп) «снеговых очков», которые были изобрете-

ны мигрантами для защиты непривычных глаз «южан» от ярких, отраженных от снега лучей света.

4. На это же, по мнению С.М. Широкогорова, указывал особый, свойственный «южанам», комплекс антропологических признаков типа «Гамма» и общая склонность северных тунгусов к психопатии и неврозам. Последние, по С.М. Широкогорову, являлись реакцией на неблагоприятные, стрессовые для расселявшихся в северной тайге южан, условия жизни.

Говоря о причинах массового переселения предков тунгусов на север и реконструируя сам процесс миграции, С.М. Широкогоров, очевидно, исходил из традиционной для того времени (и, как ни странно, употребляемой до настоящего времени) парадигмы – внешнего воздействия со стороны более продвинутых в социально-экономическом развитии сообществ. Таковыми, с точки зрения С.М. Широкогорова, являлись выходящие в бассейны Хуанхэ и Янцзы земледельческо-скотоводческие племена протокитайцев.

Миграция предков тунгусов на север разделяется С.М. Широкогоровым на два этапа. Первый связан с освоением благоприятных для интенсивного развития и нормального функционирования охотничье-оленеводческого хозяйства ландшафтов и биоценозов горной тайги в бассейне Уссури и Сунгари. Следующий этап, связан с продвижением в эти районы китайцев, которое сопровождалось переходом маньчжуров к земледелию и скотоводству. Экстенсивное развитие земледельческо-скотоводческого хозяйства маньчжурских мигрантов и сопровождавшая этот процесс борьба за хозяйственные территории, наконец, образование могущественного и воинственного государства чжурчженей, по С.М. Широкогорову, завершились тем, что IV-VI веках н.э. предки северных тунгусов были окончательно вытеснены со своей «исторической прародины». Частично ассимилируя палеоазиатов, они начали продвигаться на север и осваивать обширные таежные пространства к северо-западу и вос-

току от Яблонового и Станового хребтов.

Как известно, теоретическое наследие С.М. Широкогорова, как и его пионерная, произведенная в нормах «комплексного метода» реконструкция этногенеза тунгусов на долгие годы были исключены практически из всех публикаций «советской этнографической школы». Быть может, в решающей степени это объяснялось не только идеологическими соображениями («все буржуазное – антинаучно), но и теми известными обстоятельствами, в которых развивалась и работала отечественная этнология в 1930-1970-х гг.

Становление «советской школы» этнографического сибиреведения в довоенный период и ее развитие в послевоенное время, как известно, происходило в условиях решения не только сугубо научных, но и в известной мере государственных задач ускоренной интеграции «отсталых» народов Сибири и Дальнего Востока в экономическую, социальную и политическую структуру социалистического государства.

Очевидно, «государственный заказ», отчасти направлявший систематические междисциплинарные исследования по этногенезу и этнической истории народов Сибири, продолжал действовать и в 1940–1960-х гг. В начале 1970-х гг. в связи с известными процессами в приграничных районах особое значение приобретает поиск доказательств автохтонного, палеосибирского происхождения бесписьменных народов. Иными словами, существующий и непрерывно пополняющийся комплекс этнографических, лингвистических, палеоантропологических и археологических источников, в первую очередь, призван был доказать, что «историческая прародина» этих народов не выходит за пределы государственных границ России и СССР.

Вместе с тем очевидно, что, несмотря на ангажированность, этногенетические исследования этого времени базировались не только на тех теоретических построениях и методах, которые соответство-

вали программным установкам ЦК КПСС, духу и букве «марксизма-ленинизма». Масса примеров свидетельствует, что даже в самые жесткие периоды тотального контроля и цензуры отечественное этнографическое сибиреведение совершенствовало и активно использовало в своих этногенетических реконструкциях комплексный метод исследований, разработанный и впервые опробованный ведущими представителями «буржуазной школы» - Д.Н. Анучиным и Д.Н. Зелениным (Гурвич, 1975, с. 6-8).

Степень изученности ранних этапов этногенеза и этнической истории трех «близкородственных» народов алтайской языковой семьи – эвенков-тунгусов, якутов и бурят, на наш взгляд, до настоящего времени остается крайне неравномерной. Так, уже к середине 1930-х гг. этногенез якутов получил фундаментальное описание в специальных монографических публикациях В.Л. Серошевского, Р.К. Маака, В.И. Иохельсона и Г.В. Константинова.

По сравнению с этими достижениями и несмотря на то, что в исследовании проблемы этногенеза эвенков-тунгусов в той или иной мере участвовали блистательные ученые - этнографы, лингвисты, антропологи и археологи, современные результаты в этой области знаний представляются несравнимо более скромными. На наш взгляд, после С.М. Широкогорова российская этнография не продвинулась далее краткого, тезисного изложения взаимоисключающих предварительных версий, предложенных в работах Г.М. Василевич, В.А. Туголукова и Н.В. Ермоловой.

Более или менее представительные данные, на которых базировались все конструкции древнего популяционного ядра носителей архаических черт физического типа и культуры, местоположение «исторической прародины» эвенков и северных тунгусов в целом и восходящих к современности линий генетического родства с древними обитателями Сибири и Дальнего Востока были получены в результате интенсивных исследований в области антропологии, ар-

хеологии и языкознания.

Следует заметить, что накопление археологических и палеоантропологических данных о населении Северной Азии и их публикация изначально и до 70-х гг. XX в. не ограничивались введением результатов работ в узкое информационное поле профессиональных археологов и антропологов, но неизменно сопровождалось опытами восстановления хозяйства, быта, социальной структуры, языкового и этнического состава древних популяций[6]. За основу этих реконструкций, на наш взгляд, без ссылки на первоисточник были взяты «два модифицированных» теоретических положения С.М. Широкогорова: а) этногенез можно считать завершенным лишь с появлением общего самосознания и этнонима; б) язык, физический тип и культура формируются дивергентно и напрямую не связаны с процессом формирования этнической общности. Новое прочтение данных положений предполагало:

- «если язык и культура могут распространяться независимо… от антропологического типа, то антропологические типы никогда не распространяются без языка и культуры»;

- «общность территории… являлась тем звеном, которое связывало этнографические и антропологические общности» (Левин, 1950, с. 54; он же, 1958, с. 6-7; Дебец и другие, 1952, с. 24; Окладников, 1950, с. 40).

Очевидно, анализируемые с этих позиций палеоантропологические, археологические данные и их современные эвенкийские параллели, явились основанием к убеждению в том, что безусловная **древность** базовых характеристик антропологии и культуры тунгусов-эвенков сочетается с **исторической молодостью их как этноса**.

Первая в отечественной этнографии (после С.М. Широкогоро-

---

[6] См., в частности, публикации А.П.Окладникова, А.П. Деревянко, Е.И. Деревянко, Г.Ф. Дебеца, М.Г. Левина, В.П. Алексеева и других ведущих российских ученых.

ва) попытка обобщения всего комплекса этногенетических данных и конструирования общей модели этногенеза эвенков принадлежит Г.М. Василевич. Частные вопросы этой проблемы были рассмотрены в многочисленных статьях по языку, топонимике, фольклору, истории хозяйства и материальной культуры, социальной организации тунгусов-эвенков (Василевич, 1949, 1960, 1966; Василевич, Левин, 1951). В обобщенном виде концепция этногенеза должна была выйти в монографическом сочинении «Материалы языка, фольклора и этнографии к проблеме этногенеза тунгусов». Однако при жизни автора оно не было издано и сохранилось в рукописном виде в Архиве Ленинградской части института этнографии АН СССР[7]. Очевидно, по этой причине гипотеза Г.М. Василевич по этногенезу тунгусов известна нам лишь в схематическом виде (Василевич, 1969).

Краеугольный камень рассуждений Г.М. Василевич, безусловно, составили концептуальные взгляды Г.Ф. Дебеца, А.П. Окладникова и М.Г. Левина на географическое местоположение исходного очага формирования дошедших до современности древних оснований физического типа, хозяйства и материальной культуры современных тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока. По мнению Г.М. Василевич, оно «происходило в среде охотников… байкальской, по Окладникову, культуры, которой и соответствовала алтайская языковая общность». Если учесть, что этнические (точнее тунгусские) импликации в археологические материалы производились А.П. Окладниковым под впечатлением предварительного антропологического изучения Г.Ф. Дебецем краниологической серии из Китойского могильника (Дебец, 1930), следует считать, что данная общность сопоставлялась Г.М. Василевич с носителями признаков «байкальского» антропологического типа.

Далее, в том же абзаце текста «историко-этнографических

---

[7] Рукопись монографии Г.М. Василевич просмотрена мною дважды. По общему впечатлению текст монографии, при жизни автора, еще не был доработан.

очерков» об эвенках, Г.М. Василевич утверждает: «На средних этапах неолита в горно-гольцовых районах южного Прибайкалья стали обособляться охотники, а на юге… начинающие приручение мелкого рогатого скота предки монголов и тюрок» (Василевич, 1969, с. 39). В финальной части этого этапа, по мнению Г.М.Василевич, происходит разделение предковой основы тунгусо-маньчжуров на северную (все эвенки и эвены) и южную языковые группы.

«Второй период этногенеза прототунгусов», как полагает Г.М. Василевич, относится к началу эпохи «бронзы» (глазковский этап). Северная группа тунгусов продолжает осваивать «горную тайгу, примыкающую с юга к Байкалу» и, находясь в относительной изоляции от «южных тунгусов», автономно развивает «свои языки и культуру…». В этот же период, по мнению Г.М. Василевич, из общей массы тунгусо-маньчжурских языков выделяется собственно маньчжурский, при этом в языках сибирских тунгусов «…выработались элементы, сближающие все языки… как в области лексики, так и в области грамматики...», а в материальной и духовной культуре сложился тот комплекс этнических характеристик, «который всегда отличал тунгусоязычные народы Сибири» (Василевич, 1969, с. 40).

Следующий этап дифференциации прародительской общности тунгусо-маньчжуров связывается Г.М. Василевич с началом этногенеза «предков эвенов и эвенков и характеризуется расселением их на запад и восток» от исторической прародины – горнотаежной области южного Предбайкалья – Забайкалья. «Причиной этого, по-видимому, явился выход тюркоязычного населения к Байкалу», который разделил северных тунгусов «на две группы: западную (с шипящим диалектом) – ангаро-прибайкальскую и восточную (со свистящим диалектом) – ленско-витимскую и забайкальско-амурскую (с сибилянтно-спирантным диалектом). К этому периоду, видимо, относится появление… этнонимов… *Курка (гир), Килен, Долган… Кима, Солон* » (Василевич, 1969, с. 40-41).

Следует подчеркнуть, что этот период датируется Г.М. Василевич I в. н.э., что по археологическим данным соответствует присутствию в этих районах носителей «курумчинской культуры» (Василевич, 1969, с. 260). Необходимо также отметить те пункты рассуждений Г.М. Василевич, в которых она постоянно напоминает о том, что сложившийся еще в финальной стадии неолита комплекс хозяйства материальной и духовной культуры пеших охотников прежде, чем стать собственно эвенкийским, прошел длительный этап преобразований. Ведущим фактором модификации первичного комплекса этнокультурных признаков и формирование современного языкового и хозяйственно-культурного разнообразия эвенков, по Г.М. Василевич, явилось смешение их предков с иноязычными обитателями Сибири, Дальнего Востока и смежных районов Монголии, а также интеграцией в древнюю структуру языка и культуры многочисленных «палеоазиатских» заимствований (Василевич, 1969, с. 257-261).

Вскоре после издания «Историко-этнографических очерков» предложенная Г.М. Василевич концепция этногенеза тунгусов была раскритикована в двух рецензиях, опубликованных в одном из номеров журнала Советская этнография.

Первые рецензенты, А.В. Смоляк и З.П. Соколова, в целом оценивая монографию как «примечательное явление в советской этнографии» и признавая уникальность собранных в ней авторских материалов, весьма осторожно указывают на ряд недостатков. Принципиально важными, на наш взгляд, являются замечания по поводу того, что из текста монографии «не всегда ясно, где речь идет о названиях, а где о самоназваниях» Смоляк, Соколова, 1971, с. 163). Действительно, отсутствие четкого разделения бытовавших наименований эвенков на собственно **этнонимы**, параллельно бытующие «родовые» имена локальных групп и «экзонимы» (пришедшие из иноязычной среды и вошедшие в употребление названия), не

позволяет уверенно отвечать на главный вопрос: являлись ли эвенки на период публикации монографии этносом или представляли собой исследовательскую конструкцию, представленную близкими по происхождению, языку и культуре, но, тем не менее, изолированными друг от друга локальными этнографическими группами.

Критические замечания А.В. Смоляк и З.П. Соколовой касались также двух (эвенкийская и орочонская) форм содержания и хозяйственного использования домашних оленей, а также высказанного Г.М. Василевич предположения о том, что формирование культуры эвенков началось еще на «до оленеводческом» этапе их этногенеза. В принципе, соглашаясь с разделением оленеводческой традиции эвенков на два самостоятельных типа, З.П. Соколова и А.В. Смоляк все же отмечали, что приводимые Г.М. Василевич аргументы противоречат материалам других глав и, в целом, «не убеждают» в правомерности принципиально важного вывода (Там же, с. 164).

Еще более жесткие критические замечания содержит вторая рецензия, подготовленная В.А. Туголуковым, Б.О. Долгих и И.С. Гурвичем. Первый блок возражений, как и у предыдущих рецензентов, касался аргументов, которые использовались Г. М. Василевич для обоснования того, что оленеводство тунгусов формируется уже после расселения «пеших охотников» в пространствах сибирской тайги.

С точки зрения рецензентов, ссылки Г.М. Василевич на небольшой размер стада и регулярный забой оленей для пропитания, якобы, характерный для групп с эвенкийским типом оленеводства, были признаны расплывчатыми и неубедительными. По мнению рецензентов, относительно малые размеры принадлежавших отдельным семьям оленьих стад были свойственны не только западным, но и восточным эвенкам, что собственно и отличало эвенкийское оленеводство от специализированного оленеводческого хозяйства чукчей и коряков. Безусловно, опирающимся на достоверные фак-

ты можно признать утверждение, что большое стадо оленей мешало «кочевать по тайге… тем более заниматься охотой», а осенний забой оленей на мясо «производился малооленными эвенками лишь в исключительных случаях, когда альтернативой была голодная смерть» (Гурвич и другие, 1971, с. 168).

Столь же произвольным признавалось предположение Г.М. Василевич о связи первичного очага формирования эвенкийского оленеводства с одним из притоков Амура – бассейном р. Оро, от названия которой якобы и происходит название «орочен» - «житель местности Оро». С точки зрения авторов рецензии, такое толкование «идет в разрез с практикой и смыслом употребления» этого названия самими эвенками (Там же, с. 168).

Аргументированные и весьма серьезные замечания были высказаны в отношении методологической стороны работы Г.М. Василевич. Существенной методологической ошибкой Г.М. Василевич было признано то, что разделение эвенков на «ряд локальных, весьма обособленных» по языку и культуре общин не было сопровождено важнейшим «для выяснения вопроса о существовании общих элементов эвенкийской культуры…» сравнительным анализом «культуры отдельных эвенкийских групп». Простая ссылка на различия в культуре, на взгляд оппонентов, формирует у читателя «иллюзорное представление о единстве культуры эвенков на всей громадной» осваиваемой ими территории (Гурвич и другие, 1971, - с. 166-167).

Завершая свои замечания, рецензенты отмечают, что «далеко идущие выводы, касающиеся этногенеза эвенков… крайне трудно обсуждать ввиду того, что они почти не связаны» с публикуемыми материалами и, потому их «следует рассматривать только как личное мнение» автора монографии (Там же, - с. 167-168). Столь сокрушительная критика труда Г.М. Василевич, на наш взгляд, была хоть и обоснована, но лишь отчасти справедлива. Казалось бы, замечания рецензентов, в первую очередь, были направлены на крити-

ку сложившихся к тому времени представлений о датировке финала этногенеза и начала этнической истории эвенков.

Логичным итогом рассуждений о многообразии названий и самоназваний, о локальных различиях в языках и культурах эвенков, должна была стать постановка вопроса: являются ли эвенки на момент обсуждения монографии Г.М.Василевич консолидированным этносом? Однако, ни в критических замечаниях одного из рецензентов - В.А. Туголукова, ни в его более поздних публикациях собственных концепций этногенеза эвенков ответа на этот вопрос нет. Быть может, это объясняется тем, что и критикуемая Г.М. Василевич, и ее оппоненты, даже после снятия жесткого давления сталинской идеологии, в определенной степени чувствовали некую опасность «обнаружить нежелательные корни национального древа или, наоборот, не обнаружить желательных» (Абрамян, 2004, с. 10).

Можно, очевидно, предполагать, что, критикуя Г.М. Василевич, В.А. Туголуков уже в то время исходил из собственной версии этногенеза тунгусов. Во всяком случае, впервые опубликованные в начале 1970-х гг. взгляды В.А. Туголукова без существенных изменений последовательно отстаиваются во всех последующих его работах (Туголуков, 1970; 1975, с. 78-110; 1980, с. 152-176; 1997, с. 13-22). В.А. Туголуков признает, что его концепция этногенеза эвенков, с некоторыми уточнениями, соответствует взглядам К. Гикиша, Ю.Д. Талько-Грынцевича, И.И. Майнова и В.И. Сосновского. В частности, вслед за И.И. Майновым (Майнов, 1898, с. 95-96, 117, 171) он полагает, что предки современных тунгусов вышли на Ангару и верховья р. Лены «из западной части Забайкалья и отсюда начали свое продвижение на запад в бассейны Вилюя и Енисея». Он разделяет и ту точку зрения И.И. Майнова, согласно которой два различающихся между собой антропологических типа современных эвенков являются результатом смешения южных «высокорослых» мигрантов с северным «низкорослым» аборигенным населением.

По мнению В.А. Туголукова (1980, с. 15), идеи И.И. Майнова очень близки взглядам М.Г. Левина, которые «в некоторой степени синтезируют» построения сторонников автохтонной и степной гипотез. Очевидно, именно попутные антропологическим изысканиям экскурсы М.Г. Левина в проблему этногенеза тунгусов (Левин, 1950, с. 53-64 и другие работы этого автора) играли особую роль в формировании взглядов В.А. Туголукова. Так, замечание М.Г. Левина о наличии в краниологии ископаемых и современных серий «байкальского типа» примеси центральноазиатских монголоидов рассматривалось В.А. Туголуковым как указание на то, что «область формирования тунгусских языков, генетически родственных (выделено мною – М.Т.) с языками тюркскими и монгольскими» располагалась к востоку от Байкала, по соседству с территориями формирования тюркских и монгольских народов. Судя по тексту публикации, В.А. Туголуков обращает внимание на антропологические признаки относительно небольшой группы монголизированных тунгусов-скотоводов юго-западной части Забайкалья («скотных тунгусов», по И.Г. Георги), в отношении которых М.Г. Левин и зафиксировал примесь признаков центральноазиатского типа.

Эти и последующие рассуждения В.А. Туголукова, на наш взгляд, могут быть интерпретированы не иначе, как прямое указание на то, что «историческая прародина» (она же первичный очаг формирования корневой основы физического типа, языка и культуры эвенков-тунгусов) территориально совмещалась с ареалом формирования «алтайской» языковой семьи. Во всяком случае, как и М.Г. Левин, В.А. Туголуков полагал, что соседство «пратунгусской» и предковой тюрко-монгольской языковых общностей являлось одной из причин распространения в эвенкийской культуре навыков транспортного оленеводства и, в особенности, использования молочных продуктов.

Как и М.Г. Левин, В.А. Туголуков убежден в том, что рассе-

ление тунгусоязычных предков современных эвенков и эвенов «по Северной Сибири было делом сравнительно недавнего прошлого» и происходило уже на оленеводческой стадии развития. Что же касается формирования «современных антропологических типов» и локальных особенностей культуры западных и восточных эвенков, то В.А. Туголуков традиционно связывает эти процессы с ***миграцией*** пратунгусов и ассимиляцией части «палеоазиатского населения» Сибири. «Распространяясь по Северной Сибири» - цитирует В.А. Туголуков М.Г. Левина, «тунгусоязычные племена воспринимали очень многие черты хозяйства и культуры аборигенов – охотников и рыболовов таежной зоны – и сами растворялись в массе аборигенного населения» (Левин, 1958, с. 197, 204; Туголуков, 1980, с. 156).

«Ассимиляция», как известно, подразумевает «слияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, культуры,… самосознания» (Советский энциклопедический словарь, 1989, с. 82). Исходя из этого, тунгусо-язычные племена мигрантов, расселяясь в пространстве таежной Сибири, должны были либо **ассимилировать** аборигенное население, либо раствориться в их среде, т.е. быть **ассимилированными** аборигенами. Первое, очевидно, могло иметь место лишь в том случае, если мигрирующие группы тунгусоязычных носителей байкальской комбинации антропологических признаков численно и по уровню социального развития превосходили аборигенов. Вместе с тем, В.А. Туголуков допускает ту же методологическую ошибку – не утруждая себя критическим анализом аргументов И.И. Майнова и М.Г. Левина, абсолютизирует основным положениям их гипотез и основную задачу своей работы видит лишь в том, чтобы «уточнить (выделено мной – М.Т.) различные данные, относящиеся к сложной проблеме этногенеза тунгусов» (Туголуков, 1980, с. 156).

Из дальнейшего описания видно, что поставленная

В.А.Туголуковым задача сужается до «уточнения» двух вопросов:

а) какой общности и какому этнониму ближе всего соответствует представление об «этнических корнях тунгусов»;

б) какие группы инородного по происхождению населения участвовали в формировании пратунгусов на ранних этапах и в период их расселения в таежной зоне Сибири.

Прежде всего, В.А. Туголуков сообщает о том, что первое, зафиксированное Рашид-ад-Дином упоминание личного «имени или этнонима тунгус» относится к XIII в. и связывается с одним из «представителей татаро-монгольской администрации в Средней Азии», отправленным «на служение» к хану Удэгею».

Далее, вслед за М.Г. Левиным, В.А. Туголуков утверждает, что до переселения в таежную зону Северной Сибири обитавшие в ее южной части племена тунгусов уже являлись «кочевыми охотниками-оленеводами». Поскольку же «археологические памятники» Прибайкалья, Приамурья, Якутии и Дальнего Востока характеризуют «неолитических обитателей этой гигантской области… как оседлых и полуоседлых рыболовов, собаководов, знавших гончарство», то соотносить их с тунгусами «нет достаточных оснований» (Туголуков, 1980, с. 156-157).

В свете последующих рассуждений этот вывод понятен и, тем не менее, тоже требует комментария. Во-первых, неолитические обитатели указанных территорий, насколько нам известно, были **«пешими» охотниками-рыболовами – носителями близкого современным тунгусам байкальского антропологического типа**. Во-вторых, нет никаких аргументов, опровергающих логичное, на наш взгляд, предположение, что за весьма длительный период (неолит – финал эпохи бронзы) эти охотники под влиянием монголо-тюркоязычных соседей-скотоводов, могли самостоятельно, без участия гипотетических тунгусоязычных мигрантов, освоить транспортное оленеводство.

Тем не менее, В.А. Туголуков обращается к наиболее ранним сообщениям «об оленеводах», которые датируются V-VII вв. н.э. и «имеют в виду забайкальский народ *увань*, в котором с полным основанием можно видеть непосредственных предков тунгусов» (там же).

Результаты анализа этих источников, пишет далее В.А. Туголуков, свидетельствуют, что *увани* обитали в шести или в пятидесяти днях езды на лошадях от «тюркоязычного скотоводческого народа *байегу*, занимавшего нижнее течение р. Селенги», а также бассейн р. Баргузин. Такое местоположение народа *увань* «достаточно ясно» определяется из записей в китайской хронике «Таншу»: «…поколения Увань, иначе, Гувань и Гюй, иначе, Гяй, обитали от байегу на северо-восток. Там растут деревья, но нет травы. Земля произращает много моху. Нет ни овец, ни лошадей. Содержали оленей как домашний скот; кормили их мохом и впрягали в телеги; одеяние носили из оленьих шкур». Эти известия хроник, по мнению В.А. Туголукова, дают «основание полагать, что речь идет о горной тайге», а разброс расстояний, отделяющих прародину уваней от байегу, «позволяет очертить довольно обширный регион, заключенный приблизительно между верховьями Верхней Ангары и Олекмой». Именно с этим районом, на взгляд В.А. Туголукова, «исторически связано этническое формирование тунгусов», а сам «этноним *увань*… представляет собой, по-видимому, **прототип самоназвания… эвенки**» (Туголуков, 1980, с. 157).

«Кто же такие были увани?», задает сам себе вопрос В.А. Туголуков. «Являлись ли они аборигенами Забайкалья… или были пришельцами из иных районов?» И далее – «На это счет у нас мало данных, но все же путем сопоставления различных известий, а также топонимов и этнонимов можно прийти к заключению, что увани представляли собой группу бывших скотоводов, ушедшую в горно-таежное Забайкалье из более южной, лесостепной местности» (там

же, с. 158).

На этом месте реконструкции «этнических корней тунгусов» В.А. Туголуков как бы забывает о той критике, которую вместе с другими этнографами обрушивал на «миграционисткую» гипотезу С.М. Широкогорова. Новейшие данные антропологии и популяционной генетики, археологии и лингвистики, по существу, исключаются из системы доказательств. Вся последующая реконструкция этногенеза северных тунгусов опирается на результаты сравнительного анализа обнаруживаемых В.А. Туголуковым лексических параллелей в этнонимике и географических названиях, которые, на наш взгляд, могут интерпретироваться далеко неоднозначно.

Игнорируя известное замечание С.А. Токарева об опасности абсолютизации диагостирующего значения этих этногенетических данных, В.А.Туголуков уверенно рассматривает их как прямые свидетельства о том, что именно *увани* - относительно небольшая по численности группа (племя) в составе народа хи, который обитал «у хребта Увань» и относился к горной системе Большого Хингана, являются предками современных эвенков. «О положении хребта Увань на местности» - пишет В.А.Туголуков, «свидетельствует река, известная под названием Хуванъэркухэ; это правый приток р. Нонни…». Здесь В.А. Туголуков считает важным «указать на то, что топонимы Ухуань и Сянби стали служить обозначениями народов, которые жили возле этих хребтов» (Туголуков, 1980, с. 158).

Следует заметить, что на связь топонимов Сянби и Увань с гипотетическими предками эвенков-тунгусов ранее В.А. Туголукова указывал В.И. Сосновский. В рассуждениях В.А. Туголукова интересен другой факт. В примечаниях к своей статье он указывает, что р. Нонни является одним из притоков р. Сунгари (там же, с. 176). Вместе с предположением, что «название хребта Увань стало позднее названием части народа хи», это рассуждение В.А. Туголукова автоматически перемещает «историческую прародину» предков

тунгусов – *уваней* в те районы, на которые в свое время и указывал С.М. Широкогоров. С этой целью, соединяя корневые лексемы топонима «*Увань*» с этнонимом (!) «*хи*», В.А. Туголуков приходит «к предположению, что хисцы, обитавшие в районе хребта Увань, могли назвать себя *увань-хи*. Возможно, что это самоназвание они сохранили за собой и позднее, в горно-таежном Забайкалье – Приамурье, в память о своей былой родине» (там же, с. 159). Как следует из других публикаций В.А.Туголукова собственно это название и является прототипом этнонима «эвенки». Остается лишь доказать, что и по языку «*увань-хи*» являются ближайшими предками тунгусов (эвенков и эвенов).

С этой целью В.А. Туголуков снова обращается к сведениям о входивших в состав «хисцев» племенных союзов Мохэ и Чжурчжень: «в свете указанных фактов племена Увань, Мохэ и Чжурчжень можно рассматривать как братские по отношению к общему этническому стволу (народ хи). Соответственно и языки этих племен представляются диалектами языка хи» (Туголуков, 1980, с. 159-160). К этому времени сравнительно-лингвистическими исследованиями уже было доказано, что отдельные группы мохэ и чжурчжени в целом были тунгусоязычны. Очевидно, исходя из этих данных, В.А. Туголуков полагает, что «братский» для мохэ и чжурчженей народ *увань-хи* тунгусоязычен и, соответственно, является носителем корневых основ языка современных эвенков и эвенов.

Следующий этап рассуждений В.А. Туголукова связан с вопросом, каким образом скотоводческий народ *хисцы* «сделались оленеводами?» Утверждая, что «никаких фактических данных на это счет нет», В.А. Туголуков высказывает два предположения: «1) Увани встретили в тайге Забайкалья аборигенов-оленеводов и в процессе общения с ними заимствовали… оленеводство; 2) Будучи раньше горными скотоводами, увани (хисцы) могли содержать в лесах Большого Хингана некоторое количество прирученных оленей…

потомства диких важенок (самок), а затем в лучших экологических условиях горно-таежного Забайкалья развить эту новую отрасль хозяйства» (Туголуков, 1980, с. 160).

Не совсем понятно, что означает «полное отсутствие фактических данных»? Ко времени публикации статьи В.А. Туголукова в распоряжении исследователей был хотя и неполный, но достаточно большой массив данных, полученных в результате изучения письменных, лингвистических и археологических источников. Для ряда отечественных ученых, эти данные оказались достаточными для разработки двух рабочих гипотез происхождения оленеводства (Карцелли, 1928; Максимов, 1928; Василевич, Левин, 1951; Вайнштейн, 1960, 1970, 1971), одна из которых, опирающаяся на археологические реконструкции «саянского» (самодийского) очага доместикации северного оленя, сегодня считается наиболее убедительной.

Столь же закономерным представляется вопрос о том, что заставило *уваней*, переселившихся в новые благоприятные для коневодства и овцеводства лесостепные районы Забайкалья, отказаться от производящих форм хозяйства и перейти к присваивающим - охоте и обеспечивающему ее транспортному оленеводству.

Вторая часть гипотезы В.А. Туголукова посвящена описанию процесса расселения оленных уваней в пространстве таежной Сибири (Туголуков, 1980, с. 161-165). Как и его предшественники, В.А. Туголуков рассматривает этот процесс в контексте взаимодействия переселенцев с разными по происхождению и культуре группами аборигенного населения. Взаимные браки, двусторонний обмен достижениями культуры, по мнению В.А. Туголукова, положили «начало этническому формированию тунгусов - эвенков и эвенов… Время от времени к уваням присоединялись новые выходцы с юга… большинство таких групп имело тюркское происхождение, но среди них, несомненно встречались и группы чжурчженей и даже монголов». С последними, по мнению В.А. Туголукова, связано проис-

хождение таких наиболее древних эвенкийских родов, как Вакарай, Иологир, Баягир, Дуликагир, Монго, Сартол и другие (Туголуков, 1980, с. 168-169).

Ссылаясь на сообщения первых русских землепроходцев, В.А. Туголукова пишет о длительных контактах уваней – эвенков с народом «*чулугды-челугдеи*», который якобы соответствует кетоязычным *асанам* и *коттам* Средней Ангары, а также о фиксируемых в эвенкийских преданиях группах «*чангитов*». К востоку от Байкала мигрирующие группы прототунгусов, по данным В.А. Туголукова, ассимилировали аборигенные племена *булэнов*. «Термин *булэн*» - пишет Туголуков, «служит у части эвенов обозначением юкагиров…», а в форме множественного числа - *булэсэл* (*булэшел*) относится «… к тунгусоязычному населению, обитавшему в первой половине XVII в. на Нижней Тунгуске».

По материалам якутского фольклора, *Булэны* отличались от эвенков внешним видом (длинные волосы, широкие лица), «угоняли тунгусских оленей, похищали женщин» и ***имели татуировку.*** Исходя из тех же данных, В.А. Туголуков сообщает, что обычай татуировки был свойствен аборигенной группе *дьиркинэй* (от эвенкийского *ирки-иркин – «дикий олень»* - этимология В.А.Туголукова), обитавшей в бассейне р. Вилюй. В период появления в этом районе первых групп тунгусов, *дьиркинеи* одевались «в ровдужные шубы и шапки, окрашенные красной охрой… имели оленей, вели кочевой образ жизни и существовали охотой» (Там же, с. 170-171).

Это сообщение В.А.Туголукова интересно не только тем, что татуированные («шитолицые», по русским известиям XVII-XVIII вв.) аборигены упоминаются в записях А.Ф. Миддендорфа и А. Каменского-Длужика о «собачьих» тунгусах, носивших название «*хундысал*». Особый интерес представляет в нем то, что расселявшиеся в этом районе и заимствовавшие якобы от *увань-хи* навыки оленеводства предки современных эвенков и эвенов, встретились

с аборигенами, которые задолго до появления тунгусов имели собственных домашних оленей.

Очевидно, и сам В.А. Туголуков понимал, что приведенный им сюжет не вполне встраивается в общую логику реконструкции этого этапа этногенеза эвенков и поэтому делает очередную попытку объяснения своих взглядов все тем же способом сопоставлений. В его представлениях, *дьиркинеи* «надежно совмещаются с *туматами*, поскольку кочевавшие вместе с ними тунгусские роды *Нюрмаган и Сологон* «ушли с Вилюя «из-за нападений народа с «шитыми» (татуированными) лицами».

Из следующего абзаца текста В.А. Туголукова (1980, с. 172) видно, что речь идет о группе «*тумат-омук*», которая, судя по данным В.И. Иохельсона, могла быть частью обитавших в этом районе юкагиров или смешавшихся с ними тунгусов (Иохельсон, 2005, с. 92-95, 101). Однако, этническая принадлежность «*туматов*» В.А. Туголуковым не расшифровывается. Так же не объясняется по какой причине названные ранее «аборигенами Вилюя» *туматы* исключаются В.А.Туголуковым из категории «дотунгусского» аборигенного субстрата, который являлся «непосредственными потомками... неолитического населения Восточной Сибири» - носителя катангского типа сибирских монголоидов (Туголуков, 1980, с. 172-173).

Малая убедительность предложенной В.А. Туголуковым версии происхождения эвенков, как нам представляется, состоит не только в том, что избранная им система доказательств выстроена традиционным, исчерпавшим себя методом возведенных в абсолют аналогий и совпадений в этнонимике, антропологии, языке и культуре аборигенного и мигрирующего в таежную зону гипотетического тунгусского субстратов. Следует также заметить, что приведенные им аргументы категорически опровергают возможность связи современных эвенков с племенами *увань-хи*.

Из рассуждений В.А. Туголукова и подобранных им данных следует противоположное – антропологический тип, язык и культура (в том числе оленеводство) современных эвенков-тунгусов имеют автохтонные сибирские корни. Отсюда следует, что расселявшиеся в таежных просторах Сибири и Дальнего Востока «*уваани*», если и участвовали в процессе формирования эвенков, то следы этого участия с определенными сомнениями можно признать лишь в отношении «самоназвания» *уваньхи~эвенки*, отмеченного среди Прибайкальских и некоторых Приамурских общин эвенков. В целом же, можно полагать, что рассмотренные В.А. Туголуковым данные могут, в какой-то мере, рассматриваться в качестве источников для реконструкции этногенеза не всей этнической общности эвенков-тунгусов, а лишь относительно небольшой по численности части - нескольких родовых общин, осваивавших подтаежные области Забайкалья-Приамурья[8].

Последняя по времени реконструкция этногенеза тунгусов-эвенков принадлежит Н.В. Ермоловой. В схематическом виде взгляды Н. В. Ермоловой на этногенез тунгусов были опубликованы в отдельной статье (Ермолова, 1993, с. 97-106) и нескольких работах, посвященных частным вопросам этнической истории восточных эвенков-орочонов. С нашей точки зрения, идеи Н.В. Ермоловой, несмотря на оригинальность, все же не могут претендовать на абсолютную новизну и не представляют собой полностью отработанную концепцию. Произведенная М.Г. Левиным и В.А. Туголуковым реконструкция ранних этапов этногенеза тунгусов представляется Н.В. Ермоловой «наиболее достоверной» (Дьяченко, Ермолова, 1994, с. 9). Очевидно, по этой причине основная задача предпринятых ею исследований видится в разрешении противоречий между «прибайкальской» и «забайкальской» концепциями формирования «предковой» основы современных эвенков и в уточнении отдельных

[8] О возможном участии в формировании южных групп эвенков монголоязычного населения этих районов сообщала и Г.М. Василевич (1969. – С. 274).

сюжетов обеих этногенетических реконструкций.

Прежде всего, Н.В. Ермолова предлагает произвести ревизию действующего уже долгие годы взгляда на эвенков «как на единый в своей основе этнос», части которого, расселяясь в различных «природных и этнических условиях, приобрели в процессе приспособления к ним ряд отличительных признаков, считающихся у них заимствованными, вторичными» (Ермолова, 1993, с. 97-98). Обосновывая это, она указывает на отсутствие общего для всех территориальных групп этнонима, а также на то, что «уже в литературе XVIII-XIX вв. принято было делить эвенков по хозяйственному признаку на «бродячих», «кочевых» и «пеших (сидячих)».

«Пешие» группы обладали малым количеством домашних оленей (не более 5 голов на семью) вели сезонно-оседлый образ жизни и сочетали охотничье хозяйство с массовыми заготовками рыбы в осенний сезон. В свою очередь, группы «с достаточным количеством оленей вели охотничье-оленеводческое, а с излишком оленей – оленеводческо-охотничье» хозяйства. Свидетельством изначально конвергентного генезиса западных и восточных эвенков, по мнению Н.В. Ермоловой, является также то, что из всех языков тунгусо-маньчжуров, язык эвенков наиболее дифференцирован и представлен 3 наречиями, 15 диалектами и более чем 50 местными говорами. Тем самым, «признаки эвенкийского единства», на взгляд Н.В.Ермоловой, «не вполне убедительны. Напротив, эти данные говорят скорее о том, что в прошлом эвенки были далеко не едины и не монолитны» (1993, с. 99).

Возникает вопрос, о каком «прошлом» идет речь, какова хронологическая глубина того «прошлого», в котором эвенки уже (или еще) не были едины? Впрочем, даже если это «прошлое» датируется рубежом нашей эры, от которого М.Г. Левин, В.А. Туголуков и Н.В. Ермолова ведут исчисление периода этногенеза тунгусов, все равно эти различия, как нам представляется, еще не являются неопровержимыми доказательствами конвергентного формирования

каждого из выделенных территориальных подразделений. Следует отметить, что представленные Н.В. Ермоловой доказательства изначально гетерогенного формирования западных и восточных эвенков, по преимуществу, основаны на выделенных ею различиях в материальной культуре, тогда как ссылки на антропологические наблюдения М.Г. Левина и материалы лингвистики лишь дополняют их. Быть может, чувствуя это, Н.В. Ермолова все же допускает, что многие из этих различий формировались в XIX – начале XX вв. под влиянием культур иноязычных соседей: на западе – самодийцев, на востоке – якутов, на юге – бурят и народов Нижнего Амура.

Вместе с тем Н.В. Ермолова убеждена, что различия в культуре западных и восточных эвенков «не укладываются в схему заимствований (выделено мной – М.Т.) … встречаются чаще всего или исключительно у определенного круга эвенкийских групп». Исходя из этого, она выделяет в составе эвенков «два этнических ареала: (два исходных очага этногенеза? – М.Т.) восточный и западный с условным делением их по линии Байкал – Лена». К признакам изначально конвергентного происхождения западных и восточных эвенков Н.В. Ермолова относит:

- татуировку лица у западных эвенков и отсутствие ее у восточных[9];
- различия в способах крепления и в названиях охотничьего ножа: у западных эвенков нож пурта крепился на правом бедре, у восточных нож – кото – закреплялся на поясе;
- распространение исключительно лишь среди восточных эвенков рыболовных острог дэлбэ и элгу с отделяющимися наконечниками;
- различиями в формах спальных одеял и коробок для рукоделия: у западных – одеяла с мешком для ног и коробки с квадратным или прямоугольным дном, у восточных - соответственно, плоские одеяла и коробки с круглым дном.

---

[9] В отдельной статье (1998, с. 67-68) Н.В. Ермолова объясняет это тем, что а) «прародина» западных эвенков локализуется в горной тайге Саянского хребта; б) этнокультурными контактами предков западных эвенков с носителями культуры «тагаро-таштыкского» типа.

Указывая на эти различия, Н.В. Ермолова утверждает, что они «представляют собой очень устойчивые элементы, не связанные непосредственно с природно-климатическими условиями или с этническим окружением, а потому их невозможно объяснить заимствованиями» (Ермолова, 1993, с. 99). Следует отметить, что последнее утверждение Н.В. Ермоловой может быть оспорено или требует более весомых аргументов, доказывающих, что перечисленные различия изначально являлись этнодифференцирующими и разделяли западных и восточных эвенков на генетически не связанные между собой этнические общности.

Так, например, замечание по поводу того, что наличие в промысловом инвентаре восточных эвенков специфических рыболовных острог, на наш взгляд, не вполне корректно. Во-первых, термин *элгу* отмечен в лексике локальной группы тунгусов, населяющих побережье Охотского моря и смежные ему районы Приморья. Во-вторых, в лексике всех диалектных групп западных и восточных эвенков той же группы рыболовная острога носит название *кирамки*. В-третьих, по данным Г.М. Василевич, термин *элгу* отмечен только в культуре занимавшихся «морской охотой «сидячих» эвенков» побережья Охотского моря. По тем же данным этот инструмент соответствует русскому *гарпуну* и используется исключительно лишь в охоте на морскую нерпу. К этому следует добавить, что гарпуны с отделяющимся костяным наконечником типа *элгу*, насколько нам известно, характерны для культур прибрежных «морских охотников-рыболовов» (эскимосы, алеуты), а также присутствуют в культурах рыболовов, населяющих устья впадающих в моря рек и, кроме лова лососевых в сезоны нерестового хода, периодически занимающихся охотой на мелких морских млекопитающих. Наконец, следует указать на то, что, по данным Г.М. Василевич, смешанный «сибилянтно-спирантный» диалект восточного наречия, к которому отнесены говоры тех же

учурских, аянских, зейских, чумиканских, урмийских и расселенных в верховьях Алдана эвенков-тунгусов, формировался не без участия контактировавших с ними групп коряков и чукчей (Василевич, 1969, с. 70; ССТМЯ, 1975, с. 397; 1977, с. 445-446).

На наш взгляд, дискуссионность выделенных Н.В. Ермоловой «доказательств» гетерогенного происхождения физического типа и языка западных и восточных эвенков является прямым следствием того, что они бесспорны лишь постольку, поскольку подкреплены авторитетным мнением М.Г. Левина, В.А. Туголукова и В.А. Горцевской (1954).

Ошибка Н.В. Ермоловой состоит уже в том, что ни один из этих авторов, насколько нам известно, никогда не делал попытки интерпретировать выделенные ими различия как свидетельства гетерогенного происхождения их носителей. Более того, по нашим сведениям, современные данные классической антропологии, популяционной генетики и лингвистики дают достаточно убедительные основания для вывода: отмеченные выше и все последующие выделенные Н.В. Ермоловой различия могут рассматриваться как вторичные по отношению к древней, общей для обеих групп, предковой основе. Не углубляясь в обоснование своих позиций, ограничимся указанием на то, что оно будет изложено в соответствующих разделах данной работы.

Аналогичные по методам опыты реконструкции процесса этногенеза эвенков-тунгусов публикацией концепций Г.М. Василевич, В.А. Туголукова и Н.В. Ермоловой не завершились и продолжаются до настоящего времени (Березницкий, 2001; Бурыкин, 1999; Шавкунов, 1990). Впрочем, анализируя взгляды их последователей, мы пришли к выводу, что они не отличаются особой оригинальностью, с незначительными изменениями и уточнениями, по существу, копируют своих предшественников и повторяют те же стереотипные методологические ошибки.

Первой такой ошибкой, на наш взгляд, является забвение или же игнорирование известных еще по работе С.М. Широкогорова и неоднократно подтвержденных исследователями 1960-1990-х гг. (например: Алексеев, 1986, с. 5, 23, 39; Арутюнов, 1982, с. 75-77; Шнирельман, 1982, с. 89-90) теоретических положений, согласно которым:

а) физический тип, язык и культура, как правило, имеют конвергентное происхождение;

б) большинство современных этносов имеют смешанное происхождение и восходят к разным по происхождению и культуре субстратам.

Как следствие этого, большая часть современных исследователей, по определению С.А. Токарева, использует в решении проблем этногенеза малопродуктивный, идущий от античности и средневековья, метод «генеалогических» реконструкций. Характерными признаками этого метода, по С.А. Токареву, являются: идея «предков» и «исторической прародины» изучаемого этноса; идея миграции и расселения «праэтносов» в границах современного ареала. Отмечая отрицательное отношение российской этнологии к теории «миграций», С.А. Токарев замечает, что далеко «не все отдают себе ясный отчет, в чем собственно порок». Между тем «методологический порок миграционных теорий и исторической прародины (выделено мной – М.Т.) заключается… в том, что эти теории незаконно подменяют проблему формирования народа… его пространственным перемещением». Порочным, на взгляд С.А. Токарева, является также убеждение «миграционистов» в том, что «народ, переселяясь даже на значительное расстояние, остается самим собой… теряет по пути некоторые элементы своей культуры или заимствует новые» (Токарев, 1949, с. 14-15).

Вторая методологическая ошибка, очевидно, состоит в преувеличении значимости аналогий и совпадений в лексике, материаль-

ной и духовной культуре сопоставляемых древних и современных общностей. Если исходить из того, что эти аналогии являются доказательствами генетического родства древних и современных общностей, логично полагать, что антропологическая близость современных и неолитических обитателей Сибири, совмещение ареалов распространения тех и других достаточны для определения не только местоположения «исторической прародины» тунгусов, но и архаических оснований их языка и культуры. Последнее, на наш взгляд, является результатом искаженного восприятия верного замечания, что «антропологические типы никогда не распространяются без культуры и языка» (Дебец и другие, 1952, с. 24; Итс, 1978, с. 13).

Завершая обзор взглядов на проблему происхождения эвенков, следует отметить, что представления тунгусоведов об искомых «предках» и местоположении их «исторической прародины» менялись всякий раз после того, как антропологи, археологи или лингвисты обнаруживали новые «неопровержимые» доказательства, совместимые с априорными этногенетическими конструкциями того или иного исследователя. При существующей методике этногенетических реконструкций, очевидно, можно ожидать, что по мере накопления новых этногенетических данных, в особенности в области палеоантропологии древних обитателей таежной зоны Сибири, каждой диалектной группе современных эвенков будет соответствовать своя собственная «прапопуляция» и «историческая прародина». Вместе с тем, на наш взгляд, выход из этой абсурдной ситуации есть.

Глава 2. Ранние этапы этногенеза. Архаические основания физического типа, языка и культуры эвенков-тунгусов

2.1. Предварительные замечания

Говоря об архаических основания современных тунгусов-эвенков, мы имеем в виду данные палеоантропологии, археологии и палеолингвистики, с которыми с 1930-х гг. и до настоящего времени принято связывать начала этногенетической истории, т.е. происхождение физического типа, языка, хозяйства, материальной и духовной культуры современных тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока. Обнаруживаемые методами классической антропологии сходства между современными и ископаемыми популяциями во всех реконструкциях ранних этапов формирования «северных тунгусов» считаются ведущими ориентирами в поисках исходного генетическое начала, «праматеринской основы» древнейшего слоя языка и культуры тунгусо-маньчжуров в целом и эвенков в частности.

Напомним, что основанием для подобных выводов о ведущем значении палеоантропологических данных являлась предложенная М.Г.Левиным и А.П.Окладниковым теоретическая возможность того, что миграции носителей тех или иных антропологических типов, как правило, сопровождаются распространением свойственных им языков, а территориальное совмещение локусов распространения древних и современных носителей сходных комбинаций антропологических признаков и некоторых элементов материальной культуры является достаточно убедительным свидетельством наличия между ними восходящих линий преемственности и родства.

«Живучесть» антропологических и языковых признаков в какой-то мере признается как факт в работах С.А. Арутюнова. Так,

рассматривая механизм формирования языка и антропологических характеристик «первичных этнических общностей» (племен и соплеменностей охотников-собирателей), С.А. Арутюнов указывал на их эндогамность, относительную социокультурную изолированность, замкнутость информационно-коммуникативных потоков. Очевидно, исходя из этого, С.А. Арутюнов полагал, что антропологический тип и корневая основа языка этих общностей несут в себе черты тех «исходных групп, чье генетическое наследие исчезнуть не может», а информация об их генетических связях с древностью может проникать на глубину локальных неолитических социумов (Арутюнов, 1989, с. 13; он же, 1986, с. 58-64).

Соглашаясь в принципе с этими взглядами, мы все же склонны считать, что известные следы близости антропологических, языковых и культурных характеристик современных тунгусов с древними популяциями и этнокультурными общностями Сибири вряд ли могут автоматически рассматриваться как прямые свидетельства их генетического родства. Говоря об этом, мы, в первую очередь, исходим из широко известных примеров того, что в процессе этногенеза и этнической истории многие «первичные» (по С.А. Арутюнову) этнические общности Сибири неоднократно меняли свой язык и самоназвание, отдельные элементы культуры, антропологические характеристики, формы хозяйственной деятельности и способы освоения населяемых ими территорий.

Так, тофалары и близкие им по происхождению и языку окинские сойоты испытали на себе замену исходного самодийского языка на тюркский, а обживающая лесостепные предгорья Саян часть тувинцев, кроме смены языка, перешла от охоты и транспортного оленеводства к скотоводству. В своих сомнениях мы исходим также из тех известных положений, по которым большая часть (если не все без исключения) современные этносы, независимо от уровня и формы их этнической консолидации, являются продуктом смеше-

ния и рекомбинации разных по происхождению, языку и культуре исходных субстратов (Алексеев, 1986, с. 33, 62; Козлов, 1979, с. 9; Токарев, 1949, с. 22; Чебоксаров, Чебоксарова, 1958, с. 48; Чистов, 1972, с. 8; Широкогоров, 1923, с. 21, 40, 46-47).

Гипотеза смешанного происхождения тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока, как показано выше, признавалась практически всеми исследователями, в той или иной форме и степени анализирующими ранние этапы их этногенетической истории. Так, формирование языка, культуры и, очевидно, антропологического типа крупных территориально-диалектных подразделений современных эвенков происходило в условиях миграции исходной популяции «тунгусоязычных» носителей «байкальского» комплекса антропологических признаков с юга на север, активного взаимодействия мигрантов с группами палеосибирских автохтонов и заимствования из их культуры некоторых навыков ведения охотничьего хозяйства, элементов материальной и духовной культуры.

Многочисленные свидетельства фольклорных и письменных источников в целом это подтверждают. Вместе с тем, предпринятое Ю.В. Бромлем и В.П. Алексеевым (Алексеев, Бромлей, 1968; Алексеев, 1979; он же, 1993, с. 11-12) теоретическое осмысление исторически документированных миграций позволило выделить несколько альтернативных вариантов смешения гетерогенных автохтонных и миграционных этнокультурных субстратов.

Первый вариант миксации мигрирующего и автохтонного этнокультурных субстратов охватывает те случаи, когда **мигранты численно доминируют над автохтонами.** В данной ситуации имеют место процессы ***ассимиляции***, в результате которых образуется новая этническая общность, характеризуемая полным или подавляющим замещением антропологических, языковых и этнокультурных компонентов включенного в состав мигрантов аборигенного населения.

Второй вариант рассматривает случаи взаимодействия численно равнозначных переселенческого и автохтонного субстратов, в результате которых формируется новая этническая общность смешанного происхождения, очевидно, сохраняющая следы исходных компонентов.

В третьем варианте переселенческий компонент составляет меньшинство. В течение какого-то времени переселенцы (особенно в случае их стадиального превосходства) остаются в новом этническом образовании «руководящей политической силой… передают местному населению свой язык и оказывают определенное влияние на его культуру», в некоторых случаях «почти полностью формируют ее заново» (Алексеев, 1979, с. 184). В то же время, малочисленность переселенцев приводит к тому, что формирующаяся этническая общность по антропологическим характеристикам практически не отличается от исходного аборигенного субстрата.

Нам представляется, что в каждом конкретном случае смешения миграционного и автохтонного этнокультурных субстратов результаты этого смешения, читающиеся в антропологии, языке и культуре нового формирования, в зависимости от ряда факторов могут быть более разнообразными. В частности, можно указать на то, что контакты мигрирующего и автохтонного населения могут не приводить к формированию новой общности, а результаты их взаимодействия будут выражаться в виде заимствований в культурах обеих контактирующих общностей.

Для нас важно отметить, что изучение роли миграций в этногенезе эвенков актуально лишь на той стадии этого процесса, которая характеризуется наличием **исторических свидетельств** контактирования тунгусов с инородными населением. Что же касается ранних этапов формирования антропологического типа, языка и культуры, то очевидной представляется необходимость поиска каких-либо **доказательств** того, что миграции некой древней, численно и со-

циально более «продвинутой» популяции носителей «прототунгусских» черт, которые, согласно выводам Ю.В. Бромлея и В.П. Алексеева, завершились ассимиляций (поглощением) аборигенного населения, с одной стороны, и сохранением «предковых» атропологических и «этнокультурных» характеристик переселенцев, с другой, действительно имели место. Иначе требуется доказать (или опровергнуть) утвердившееся в отечественной этнографии убеждение, что архаические основания физического типа, языка и культуры, сформировавшиеся в каком-то локальном «очаге» в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, были вынесены волнами «тунгусоязычных» мигрантов и распространены по всему современному ареалу расселения эвенков – тунгусов. Решение этого вопроса, по нашему убеждению, может быть получено лишь в результате отдельного анализа соответствующих данных о ***независимых*** процессах формирования физического типа, языка, форм хозяйства, материальной и духовной культуры.

2.2. Происхождение физического типа эвенков-тунгусов по данным классической антропологии

Положение эвенков-тунгусов в систематике Сибирских монголоидов.

Для начала отметим, что согласно принятой в антропологии классификации, основанной на систематике независимых краниометрических характеристик, современные популяции Северной Азии образуют следующие крупные расогенетические подразделения (рис. 2):

1 – «расу североазиатских монголоидов», включающую современные этнические общности Средней и Восточной Сибири и часть населения Дальнего Востока;

2 - «уральскую расу», представленную среди современного населе-ния Западной Сибири (по преимуществу расселенные в зоне умеренной тайги и приполярной лесотундры угорские и самодийские народы);

3 – «расу арктических монголоидов», в которую отнесены этнические общности Крайнего Северо-востока (Рогинский, Левин, 1978, с. 398-399).

По мнению антропологов, раса «североазиатских монголоидов» характеризуется концентрацией наиболее ярко выраженных монголоидных признаков. Что же касается представителей «уральской расы», то максимальная концентрация отмеченных в ней признаков монголоидности наблюдается в восточной части ареала (северо-восточные самодийцы левобережной части бассейна Енисея), а по мере продвижения на запад они имеют тенденцию к ослаблению за счет увеличения признаков смешения с европеоидными популяциями. Показатель «европеоидности» достигает максимума среди населения восточного фаса Уральского хребта (ханты и манси) (Алексеев, 1973, с. 60; Алексеев, Гохман, 1984, с. 149-150).

Интересующее нас подразделение северо-азиатских монголоидов, по данным антропологов, неоднородно и, в свою очередь, разделяется на три относительно изолированных антропологических типа (или, как иногда их именуют – расы второго порядка).

Первый, получивший название «байкальского» по первоначальному месту выделения в палеоантропологическом материале, представлен двумя группами популяций. Одна из них включает территориально-диалектные группы **эвенков**, расселенные в таежной зоне к востоку от Байкала, а также **эвенов, юкагиров, негидальцев и ороков Сахалина.**

Вторая группа обнаруживает признаки смешения с центрально-азиатскими монголоидами и включает диалектные группы эвенков южной, «горно-таежной» части Прибайкалья, южного Забайкалья, бассейна Среднего Амура, а также остальные тунгусоязычные народы Дальнего Востока.

В последние три десятилетия XX века среди антропологов утвердилось мнение о необходимости выделения «западных эвенков», населяющих среднетаежную зону Средней Сибири в отдельное подразделение, получившее наименование «катангский антропологический тип». Таким образом, говоря о систематике тунгусоязычных народов Северной Азии, антропологи указывают на наличие в их краниометрии как общих, обусловленных генетически, так и специфических, обусловленных инородными включениями, признаков.

Центральноазиатский тип монголоидов Северной Азии, получивший свое условное наименование главным образом по причине того, что ряд его соматических признаков имеет генетические связи с центрально-азиатским очагом расогенеза, включает современные группы якутов, бурят, часть тувинцев и отдельные группы алтайцев. Следует при этом отметить, что основная масса этнических общностей Алтая отнесена антропологами к расе «южносибирских монго-

лоидов».

Нетрудно заметить, и это следует подчеркнуть, что в рамках современной хозяйственно-культурной типологии «байкальский» и «катангский» антропологические типы объединяют по преимуществу группы «подвижных» и «сезонно-оседлых» охотников, охотников-оленеводов и рыболовов. В свою очередь, «центральноазиатские монголоиды» представлены этническими общностями кочевых и полукочевых скотоводов, сочетавших содержание скота с «примитивным земледелием» (Рогинский, Левин, 1978, с. 400; Алексеев, Трубникова, 1984, с. 114).

Следует также подчеркнуть, что разграничение коренного населения Северной Азии на ряд «изолированных» антропологических типов, по определению самих антропологов, действительно лишь для суммарных, усредненных краниометрических данных. На уровне отдельно сопоставляемых территориальных (диалектных) групп, исходя из оценок сходств и различий в отдельных краниометрических показателях, антропологи обнаруживают, что межгрупповые и внутригрупповые границы и связи, указывающие на эндогамность этнических общностей, выражены менее четко. В результате – внешне строгая и четкая схема дифференциации «североазиатских монголоидов» при более детальном рассмотрении преобразуется в неупорядоченную (но достаточно постоянно действующую) систему **межпопуляционного смешения этнически изолированных общностей.**

Наибольшей интенсивности признаки смешения обнаруживаются в зонах территориальных контактов двух и более гетерогенных популяций. Так, объединяемые в «уральскую расу» популяции угорских и самодийских народов Западной Сибири по специфическому сочетанию европеоидных и монголоидных признаков внутри территориальных подразделений отдельно взятых этнических общностей обнаруживают достаточно резкие отличия. Если среди

уральских манси, хантов и населяющих бассейн р. Обь селькупов «преобладает европеоидная комбинация признаков», то восточная группа селькупов, нганасаны, энцы и лесные ненцы характеризуются антропологами как «бесспорные носители комбинации монголоидного комплекса» (Алексеев, 1989, с. 416).

Доминирование монголоидного комплекса признаков над «европеоидной примесью… в группе восточно-самодийских народов» максимально сближает их с этническими общностями Средней и, частично, Восточной Сибири – носителями комплекса «байкальского антропологического типа». Более того, максимальное преобладание признаков этого типа среди нганасан, по мнению антропологов, позволяют включать эту общность в состав «байкальского» подразделения североазиатских монголоидов (Алексеев, 1973, с. 60-61).

Не менее интересное сочетание монголоидных и европеоидных признаков обнаруживается в современных популяциях чулымцев, тувинцев-тоджинцев и тофаларов. Так, относительно «низкое лицо» сближает их с популяциями «уральской расы», а более ярко выраженная уплощенность лицевой части головы, более жесткие и пигментированные волосы, максимальная пигментация глаз и другие признаки, по мнению антропологов, могут указывать на возможность отнесения указанных народов к метисному типу североазиатских монголоидов, занимающему промежуточное (переходное) положение между «байкальским» и «центральноазиатским» типами (Рогинский, Левин, 1978, с. 402).

Следует еще раз подчеркнуть, что изложенное выше характеризует современное народонаселение Сибири и Дальнего Востока и ни в коей мере не затрагивает проблему ранних этапов расогенеза, антропологической систематики и структуры межпопуляционных (межэтнических) связей древних обитателей этих территорий. В том же современном исчислении положение эвенков в структуре коренных народов Сибири, на наш взгляд, может быть представлено

следующим образом.

1. Синхронные сопоставления антропологических признаков современных диалектных подразделений эвенков обнаруживают, с одной стороны, их близкое родство, с другой – их антропологическую неоднородность, наличие в их составе трех морфотипов: «северо-западного» (эвенки центральной части Средней Сибири); «южного» с примесью «центральноазиатских компонентов» (эвенки южного, горно-таежного окаймления оз. Байкал) и «восточного» (эвенки Забайкалья и Приамурья).

2. Данными исторической антропологии достоверно фиксируется, как минимум, пять векторов антропологических связей эвенков с ближайшими иноязычными популяциями (рис. 3). Первые три определяют связи «западных эвенков» (катангский тип) по линиям взаимных браков с северо-восточными самодийцами, тюркоязычным населением Саянской горной страны (тувинцы Тоджи и тофалары), эвенами и юкагирами. Особый вектор, очевидно, хронологически связанный с недавними контактами эвенков с иноязычными соседями, может охватывать отдельные группы нганасан. Наконец, пятый вектор характеризует связи части «южной» (прибайкальской) группировки эвенков с сибирскими представителями «центральноазиатского антропологического типа» (буряты и якуты).

3. Следы смешения «южной» группы эвенков (горнотаежное окаймление оз. Байкал), по мнению антропологов, не имеют достоверных и определенных хронологических определений. Большая часть исследователей 1980 – начала 2000-х гг. указывает на высокую вероятность того, что зафиксированные следы метисации этой группы следует соотносить с результатами «поздних (исторически документированных? – М.Т.) браков, например, с якутами» (Алексеев, 1973, с. 60-63).

С 1950-х годов эти взгляды становятся аксиоматичными для всех представителей классической антропологии. Так, исходная, близкая

(но не «генетически родственная») современной эвенкийской комбинация антропологических признаков «байкальского типа» зафиксирована в палеонтропологических материалах из могильников и единичных погребениях неолита, ранней бронзы и средневековья, обнаруженных в локальных участках подтаежных территорий Прибайкалья, Западного Забайкальем и Приморья.

Наиболее раннее по времени выделение «байкальской» комбинации антропологических признаков принадлежит Г.Ф. Дебецу (1930). Предварительный анализ краниометрических характеристик нескольких черепов из «китойского» могильника Прибайкалья, как первоначально полагал Г.Ф. Дебец, выявил их близкородственное отношение с данными по краниологии современного эвенкийского населения этого региона, эвенов и населения эпохи «раннего железа», фиксировавшегося в комплексах «срубных» погребений Забайкалья.

Кроме того, явная антропологическая неоднородность прибайкальской серии рассматривалась Г.Ф. Дебецем в качестве основания для разделения ее на две группы с соответствующим преобладанием либо монголоидных, либо европеоидных признаков. Исходя из этих различий, Г.Ф. Дебец считал возможным рассматривать анализируемые находки как свидетельства возможного присутствия в Сибири так называемой «недифференцированной» расы «палеоазиатов», ближайшими потомками которой могли быть эвенки, эвены и юкагиры (Дебец, 1930, с. 30, 35).

Последующий детальный и опирающийся на новые методологии анализ материалов из «китойской серии» Прибайкалья, в частности, сопоставление выделенной в ней комбинации монголоидных признаков «байкальского типа» с данными краниометрии подкаменно-тунгусских и тазовских эвенков убедили Г.Ф. Дебеца в необходимости корректировки своих предварительных выводов (Дебец, 1948, с. 104). В завершенном виде предложенная Г.Ф. Дебе-

цем концепция генезиса антропологического состава современных монголоидов Северной Азии, очевидно, сложилась после изучения единственной пригодной для краниометрического изучения находки черепа предположительно неолитического возраста (датировано по типологии сопровождающих артефактов), найденного археологами Якутии на стоянке Туой-Хая в бассейне р. Вилюй (Дебец, 1956, с. 62).

Сопоставление этой находки с краниологическими данными по современной группе подкаменно-тунгусских и тазовских эвенков привело Г.Ф. Дебеца к убеждению в том, что выделенная в китойском могильнике комбинация признаков «байкальского антропологического типа», несмотря на наличие некоторых признаков близости с краниологией эвенков Прибайкалья, все же не могла претендовать на роль исходной генетической основы северных тунгусов в целом. По совокупности антропологических признаков череп из Якутии и краниологические материалы по современным популяциям эвенков Средней Сибири были выделены в самостоятельную, изолированную от «байкальского типа» группу северных монголоидов, названную (по месту распространения) «катангским антропологическим типом».

Сомнения и обоснованная критика попыток абсолютизации идеи восходящей от неолита линии генетического родства современных эвенков Прибайкалья и построения на ее основе серии гипотез о древнем «прибайкальском очаге» расогенеза и этногенеза тунгусов в целом предпринимались еще до находки черепа из Якутии. К началу 1960-х гг. гипотеза прибайкальского очага расогенеза тунгусов была опровергнута большей частью антропологов, что, очевидно, явилось основной причиной корректировки взглядов на проблемы этногенеза тунгусов таких наиболее последовательных сторонников «прибайкальского очага» как А.П. Окладникова, так и Г.М. Василевич (Василевич, 1966, с. 338-352; Левин, 1958, с. 200-

204; Окладников, 1955, с. 9-10; он же, 1968, с. 27-29).

Наиболее убедительные аргументы против «прибайкальской» локализации первичного (исходного) очага антропогенеза и, в целом, формирования базовых элементов хозяйства и культуры тунгусов, из которого началось их расселение и освоение таежных пространств Сибири, были изложены в серии публикаций М.Г. Левина. В целом, М.Г. Левин признавал, что А.П. Окладникову и Г.М. Василевич удалось обосновать «глубокие сибирские корни тунгусской культуры и преемственность многих ее элементов», восходящих к археологическим культурам сибирского неолита – бронзы (Левин, 1950, с. 54-55).

В то же время, рассуждая об архаической основе современного физического типа «северных тунгусов» (эвенков и эвенов), М.Г. Левин связывал ее с находкой черепа в погребении на р. Шилке. По его мнению, эта единичная находка, датированная А.П. Окладниковым глазковским этапом неолита (1,5–2 тыс. лет), характеризовалась той комбинацией «байкальского комплекса» антропологических признаков, которая, с одной стороны, резко отличалась от «китойской серии», с другой - максимально сближалась с краниологическими характеристиками современных эвенков и эвенов (Левин, 1958, с. 162).

Как уже отмечалось, взгляды М.Г. Левина на происхождение тунгусов не ограничивались антропологической проблематикой и охватывали весь спектр вопросов, связанных с формированием архаической основы этой общности. Так, исходя из всего доступного к тому времени набора этнографических и лингвистических данных (в частности, ссылаясь на работы Л.Я. Штернберга и В.И. Цинциус), М.Г. Левин разделял тунгусов на «северную» и «южную» ветви[10].

---

[10] Впервые разделение тунгусов на «северных» и «южных» предложила И.Е. Деникер (см. – Левин, 1958, с. 28-29)

Антропологический состав «северных тунгусов» (эвенки и ламуты-эвены), по мнению М.Г. Левина, демонстрировал ту же неоднородность. Объединяя их в одну «байкальскую расу» североазиатских монголоидов, он выделяет в их составе две группы. Первая включала восточных эвенков – орочонов Забайкалья и Приамурья, а также эвенов (Левин, 1958, с. 136-137). Ко второй, соответствующей выделенному Г.Ф. Дебецем комплексу признаков «катангского типа», были отнесены группы «западных» (средне-сибирских) эвенков, а также связанные с ними рядом антропологических признаков группы тувинцев Тоджи и тофаларов (там же, с. 143-148). В целом же, М.Г. Левин считал возможным выделять в составе северных тунгусов три относительно изолированных антропологических типа:

- собственно «байкальский» - эвенки южного Прибайкалья и северной части Якутии, а также эвены;
- особый тип, обнаруживающий признаки смешения с центрально-азиатскими монголоидами и характерный для эвенков - орочонов южных районов Забайкалья – Приамурья;
- «катангский тип», объединяющий территориально-диалектные группы эвенков, расселенных в бассейнах Подкаменной и Нижней Тунгусок и обнаруживающий аналогии в антропологии Саянских горно-таежных охотников-оленеводов (Левин, 1958, с. 150).

Таким образом, местоположение очага формирования исходной (прародительской) основы северных тунгусов по предложению М.Г. Левина перемещалось из Прибайкалья в Восточное Забайкалье - верховья Амура, а сама основа физического типа омолаживалась почти на 4 тыс. лет.

Все последующие реконструкции ранних этапов формирования северных тунгусов также опирались на новые палеоантропологические материалы, обнаруженные в комплексах археологических стоянок и могильников, датированных в широком хронологическом

диапазоне от неолита до эпохи ранних «цивилизаций» (первые века н.э.) Приморья – Среднего Амура (Деревянко Е.И., 1975). Вместе с тем, увеличение объема антропологических данных о древних носителях комплекса признаков «байкальского типа» не сопровождалось существенным изменением взглядов исследователей как в отношении той архаической группы популяций, с которыми связывалось происхождение антропологического типа, языка и культуры «северной» и «южной» ветвей тунгусов, так и в отношении географического местоположения их «исторической прародины». Напротив, новые открытия в антропологии и непрерывное нарастание объема данных об ископаемых культурах вместе с развитием теории и методологии антропологических и археологических исследований еще более усилили ту неопределенность взглядов классических антропологов на ранние этапы этногенеза коренного населения Сибири, которая существует до настоящего времени.

Наиболее яркие примеры этого, с нашей точки зрения, представлены в работах В.П. Алексеева, который наиболее активно разрабатывал как общетеоретические, так и прикладные этнические проблемы расогенеза и этногенеза. Так, в публикациях 1970 – начала 80-х гг. В.П. Алексеев еще допускал, что неолитические популяции и культуры Прибайкалья могут являться тем первичным субстратом, на основе которого «складывались культуры современных народов таежной Сибири», а «для тунгусо-маньчжурских народов вероятна… преемственность с неолитическими популяциями Забайкалья» (Алексеев, 1973, с. 63; Алексеев, Гохман, 1984, с. 14,28,131; Алексеев, Трубникова, 1984, с. 80,107, 114).

В целом, характеризуя коренное население таежной зоны Средней, Восточной Сибири и Дальнего Востока как «классических монголоидов» - носителей наиболее «чистого» комплекса признаков монголоидности, В.П. Алексеев полагал, что именно эта комбинация признаков уже в неолите была распространена во всей таежной

полосе от Енисея до восточных границ Якутии и Приморья. Более того, исходя из «антропологического сходства» западных эвенков с юкагирами, В.П. Алексеев считал допустимым «предполагать контактное расположение их прародины» (Алексеев, Гохман, 1984, с. 149-150, 160). Тем самым, В.П. Алексеев как бы признавал возможность наличия двух изолированных «исторических прародин» тунгусоманьчжуров: одной (размещенной в полосе тайги), по всей вероятности, для «западных» эвенков, эвенов и юкагиров, другой (забайкальской) – для южных групп эвенков и всех остальных тунгусоязычных народов, расселенных в бассейне Амура.

Однако спустя два года после последней по времени публикации этих концептуальных выводов, взгляды В.П. Алексеева на проблему этногенеза «северных тунгусов» принципиально меняются (см. Алексеев, 1986). Суммируя практически весь объем накопленных к тому времени антропологических данных и, очевидно, учитывая новые археологические материалы из поселений и стоянок Приамурья и Приморья, датированных в широком диапазоне от неолита до средневековья (культуры «мохэ» и «бохай»), В.П. Алексеев приходит к следующим выводам:

1 - существование в неолите Среднего Амура и Приморья «обширной зоны древнего земледелия (выделено нами – М.Т.) по новому ставит проблему прародины тунгусо-маньчжурских народов…»;

2 - указанные археологические источники «демонстрируют большое число впечатляющих аналогий современному культурному комплексу тунгусов….»;

3 - «достаточно скудное охотничье хозяйство» таежных обитателей Сибири не могло инициировать в их среде демографический взрыв и последовавшее за ним переселение избыточной части «тунгусских народов на юг…»;

4 - совокупность всех этих фактов и соображений, по мнению В.П. Алексеева, «заставляет вернуться к… точке зрения С.М. Широ-

когорова о южной прародине тунгусских народов» (выделено нами – М.Т.);

5 - расселение пратунгусов из этого «перенаселенного» исходного очага более удачно объясняется вынужденной миграцией «избыточной» части ее обитателей, сопровождавшейся «освоением на севере… лесных пространств…», деградацией комбинированного производящего хозяйства и переходом к «охотничьему промыслу» Алексеев, 1986, с. 91-92; он же, 1989, с. 418).

Те же взгляды содержатся в комментариях В.П. Алексеева к результатам изучения серии черепов (подросток 12-13 лет, два мужских возраста 18-20 и 40-50 лет и один женский – 50-60 лет) с «байкальской» комбинацией антропологических признаков (Балуева, 1978), которые были обнаружены в процессе раскопок долговременного пещерного поселения в северо-восточной части хребта Сихотэ-Алинь. Радиоуглеродная дата по тому слою поселения (пространство жилища), с которым связаны находки палеоантропологического материала, дала возраст 7065 ± 45 лет от наших дней (Неолит Юга Дальнего Востока, 1991).

В «Приложении» к этому изданию В.П. Алексеев сообщает, что его комментарий призван расширить опубликованные Т.С. Балуевой данные и частично исправить допущенные ею неточности в характеристике «горизонтального профиля лицевого скелета», в результате которых выделенные признаки комбинации «байкальского типа» выглядят «несколько гипертрофированными» (там же, с. 215-216). Возражения (или уточнения) В.П. Алексеева сводятся к следующему:

- хотя факты существования «байкальского комплекса признаков на территории Приморья в V тысячелетии до н.э. в его типичной для современного населения форме» (здесь и далее выделено нами – М.Т.) бесспорны, однако «какие-то параллели между этим… древним вариантом и современными краниологическими сериями

тунгусо-маньчжурских народов Амура» совершенно немыслимы;

- более того, изучение данных о краниологии мохэсцев, полученных в результате обработки массовых материалов из Троицкого могильника (очевидна ссылка: Алексеев, 1980; 1989), показало, что даже морфологический тип мохэ, охотничье-оленеводческая часть которых к тому времени была признана тунгусоязычной (см., например: Воробьев, 1983, с. 239), «был достаточно нейтрален», следовательно - не может рассматриваться в качестве прямых генетических предков современных тунгусоязычных народов Амура;

- все антропологические материалы из Прибайкалья и Забайкалья «относятся к более позднему времени и не могут трактоваться иначе», как результат хронологически более позднего «развития байкальского типа»;

- тем самым, с точки зрения В.П. Алексеева, единственно допустимо сугубо гипотетическим предположение, «что байкальский комплекс признаков сформировался в южных районах советского Дальнего Востока, которые являются его исходной прародиной» Алексеев, 1989, с. 218).

Можно лишь предполагать, что неопределенность взглядов антропологов в отношении архаических основ физического типа всех территориально-диалектных подразделений современных тунгусов и местоположения «первичного очага» их формирования, характерная для рубежа XX–XXI вв., отчасти объяснялась узостью банка антропологических данных, обобщающего, по преимуществу, результаты исследований древних популяций южных районов Забайкалья – Приамурья (Алексеев, Гохман, 1984, с. 149). Кроме того, использование даже этих данных для более детального анализа и решения проблемы происхождения и этнической истории каждого из тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока «затруднено (выделено нами – М.Т.) их неполнотой, методической несопоставимостью, отсутствием палеоантропологических материалов по поздним

эпохам» (там же, с. 168).

Еще более определенные оценки результатов работы классической антропологии в изучении проблем этногенеза даны в одной из последних публикаций Г.Ф. Дебеца, который полагал, что обращение к материалам краниологии вызывает «досадное ощущение бессилия найти объективные пути решения поставленных проблем» (Дебец, 1986, с. 22). Аргументируя свою оценку сложившейся в антропологии ситуации, Г.Ф. Дебец отмечал, что многие признаки или же их сочетания наследуются независимо, а закрепившаяся в классической антропологии практика определения расового типа по отдельным особям (выделено нами – М.Т.) ограничена достаточно узкой сферой и «ни в коем случае не может рассматриваться… в качестве сколько-нибудь существенного метода антропологического анализа». Как полагал Г.Ф. Дебец, широкое распространение этого метода может объясняться «его обманчивой эффективностью», а увеличение числа, выделенных по индивидуальным определениям, антропологических типов лишь «открывает простор для различных соображений о путях и причинах их появления», поскольку всегда можно найти подходящую «гипотезу, основанную на археологических, этнографических или лингвистических данных…» Дебец, 1986, с. 11-12, 22).

Вместе с тем, несмотря на явно пессимистическую оценку возможностей классической антропологии в реконструкции древнего «генетического ядра» современных тунгусов, материалы из могильников «среднего» и «позднего» неолита и «бронзы» Прибайкалья («серовский» и «глазковский» этапы по А.П. Окладникову) продолжали употребляться в реконструкциях ранних этапов этногенеза коренного населения Восточной Сибири и «этнического портрета» локальных археологических культур.

Пожалуй, единственным представителем классической антропологии, отстаивавшим наличие следов преемственности между

поздненеолитическими популяциями Прибайкалья и современным коренным населением Сибири, долгие годы оставалась Н.Н. Мамонова (1980, с. 64-88). Так, отмечая, существенные отличия «китойцев» от «серовцев» и «глазковцев» и их изолированное промежуточное положение в палеоантропологии Прибайкалья, Н.Н. Мамонова полагает, что относительно более ясно выраженный прогнатизм «китойцев», в целом, сближает их с забайкальскими сериями из могильников Фофанова, Молодовска и черепом из Шилкинской пещеры (там же, с. 66-67).

Анализируя положение «серовцев» и «глазковцев» в антропологической систематике древнего и современного населения Северной Азии, Н.Н. Мамонова привлекает к сравнению не только палеоантропологические данные неолита Забайкалья, но и результаты анализа межгрупповых различий в современных популяциях бурят, якутов, монголов, тувинцев, калмыков (центрально-азиатский тип), эвенков, эвенов, орочей, нанайцев и юкагиров (байкальский тип), а также материалы из уральской и арктической рас. Тем самым, Н.Н. Мамонова подчеркивает, что численно выросший банк палеоантропологических данных не противоречит предложенной Г.Ф. Дебецем оценке общего положения «серовцев» и «глазковцев» в систематике монголоидных популяций Северной Азии. Кроме того, Н.Н. Мамонова полагает, что проведенный ею анализ межгрупповых различий выявил:

- увеличение масштабов дифференциации в сопоставлении комбинаций признаков **территориально разных групп;**

- уменьшение различий внутри каждой из анализируемых групп, которое отслеживается в материалах разных хронологических периодов. Вторая тенденция, по мнению Н.Н. Мамоновой, указывает на явные следы преемственности, связывающей территориально совместимые группы разновременных популяций Прибайкалья в эндогамные макропопуляции. Кроме того, исходя из внутригрупповых

различий в структуре выделяемых ею «макропопуляций», Н.Н. Мамонова указывает на то, что эти различия «в неолите Прибайкалья», в целом, оказываются примерно той же величины, что и «в пределах одного (современного) антропологического типа – байкальского, центральноазиатского, арктического или уральского» (Мамонова, 1980, с. 65-66).

Таким образом, можно констатировать, что общее состояние знания классической антропологии о происхождении физического типа современных тунгусов – эвенков и о связи свойственных им комбинаций признаков «байкальского» и «катангского» антропологического типа до сих пор остаются на уровне тех обобщающих схем, которые в 1950-1960-х гг. были предложены Г.Ф. Дебецем и М.Г. Левиным. Следует при этом заметить, что ссылки антропологов на «неполноту» и «фрагментарность» палеоантропологических данных о древних обитателях Сибири, на наш взгляд, не вполне корректны. Один лишь беглый просмотр публикаций о результатах археологических исследований погребальных комплексов Прибайкалья и Западного Забайкалья (см., в частности: Бронзовый век Приангарья.,1981; Горюнова, 1997; она же, 2002; Базалийский, 1998; Bazaliiskii, 2003) показывает, что, начиная с раскопок 1973 г. в устье р. Белой, количество ископаемого палеоантропологического материала непрерывно растет. Так, на сегодняшний день количество обнаруженных в могильниках и отдельных погребениях Приангарья, Приольхонья, Верхней Лены, юго-западного побережья оз. Байкал и относимых к «серовскому этапу» неолита черепов превышает две сотни, а по «глазковской серии» приближается к тысяче.

Вместе с тем, несмотря на то, что основная масса этого огромного массива палеоантропологического материала была в разные годы подвергнута краниометрической обработке, опубликованные материалы краниологических исследований черепов из «серовских» погребений дают описание расогенетических характеристик едва

ли более 11 индивидов, а по черепам из погребений эпохи «бронзы» и того меньше. Кроме того, в сводки ближайших «предковых» в отношении современных эвенков форм до сих пор фактически не включена единичная находка черепа из погребения, обнаруженного в ходе раскопок опорного археологического местонахождения, расположенного в Баунтовском районе Бурятии в бассейне р. Витим Пежемский, Рыкушина, 1988).

Наш интерес к этой находке обусловлен, во-первых, ее возрастом, а также некоторыми особенностями организации захоронения. Так, могильная яма, ориентированная по продольной оси по линии север–юг, перекрывалась мощной кладкой из камней. Стенки могильной ямы были также выложены каменными плитами, что в целом придавало сооружению вид каменного ящика. Кости погребенного в могильной яме располагались хаотично. Отдельные фрагменты костяка были обнаружены в разных участках могильной ямы, часто друг на друге, что было расценено авторами раскопок как вероятное следствие вторичного перезахоронения. Захоронение сопровождалось обнаруженными внутри могильной ямы изделиями из камня (в том числе – бусинами из агальматолита, песчаниковыми «выпрямителями стрел»), общим числом 1310 экземпляров (Ветров и другие, 1993, с. 104-108). Радиоуглеродная дата погребения, полученная по костным материалам погребения, составила 7230±40 лет [калиброванный вариант - 6080±470 лет] (Пежемский, Рыкушина, 1998, с. 117, 119).

Череп человека был сильно разрушен, однако был восстановлен Д.В. Пежемским в 1995-1996 гг. По его определению череп принадлежал взрослому мужчине 30-40 лет. Общие краниологические признаки черепа, по мнению Д.В. Пежемского, обнаруживают «достаточно редкое в Северной Азии сочетание, обычно воспри-нимаемое как архаическое…», и позволяет диагностировать череп из местонахождения Нижняя Джилинда «как относящийся к катангскому ан-

тропологическому типу» (там же, с. 121).

На такое местоположение черепа в серии палеоантропологических материалов указывают результаты произведенного Д.В. Пежемским сравнения его характеристик с опубликованными данными по краниологии «китойцев», «серовцев» и «глазковцев» Прибайкалья и Забайкалья (Фофаново, Шилкинская пещера), неолита Дюринг-Юряха, неолитического черепа из стоянки Туой-Хая, черепа из погребения в пещере Чертовы Ворота (неолит Приморья) и ряд других. Результаты сопоставления показали «существенное удаление черепа из Нижней Джилинды» от всей представленной в анализе серии, за исключением черепа из Туой-Хая.

Специфический комплекс морфологических характеристик черепов из Нижней Джилинды и Туой-Хая, по мнению Д.В. Пежемского и Г.В. Рыкушиной, подтверждает их предварительную визуальную оценку «об одном и том же соотношении признаков», что указывает на их принадлежность к одному, «возможно наиболее древнему, антропологическому типу Восточной Сибири», известному в антропологии под наименованием «катангский» (Пежемский, Рыкушина, 1998, с. 133).

Таким образом, общие итоги изучения бытующих в классической антропологии взглядов на происхождения физического типа современных тунгусов сводятся к следующим выводам.

1. Физический тип эвенков демонстрирует, уникальное для всего пространства популяций Северной Азии, сочетание антропологических признаков, выделяющее их в особую ветвь «северных» монголоидов, имеющую, по всей вероятности, достаточно древнее происхождение.

2. Наиболее близко родственная современным тунгусам - эвенкам, древняя «байкальская комбинация признаков» рассеяна на обширном пространстве от Прибайкалья до Приморья, что противоречит предположениям о локализации «исторической прародины» в

каком либо географически узком - «первичном очаге» расогенеза.

3. Диахронное сопоставление комбинации признаков «катангского антропологического типа», выделенных в краниологических материалах погребений из археологических местонахождений Туой-Хая и Нижняя Джилинда, представляются для Восточной Сибири уникальными и, по причине неполноты палеоантропологических наблюдений, не дают достаточно убедительных доказательств их «генетического родства» с популяциями эвенков и эвенов.

2.3. Архаическая основа физического типа эвенков-тунгусов по результатам исследований генофонда монголоидов Северной и Центральной Азии

Отметим, прежде, что спустя почти полвека после появления первых отечественных публикаций результатов генетических исследований по проблемам этногенеза народов Сибири, отношение классической антропологии к популяционной генетике остается как и вначале, мягко говоря, осторожным. Во всяком случае, обращаясь к реконструкциям ранних этапов формирования физического типа тунгусов, большая часть исследователей, как нам представляется, либо практически не использует существующие разработки генетиков, либо воспринимают результаты их исследований с большим скепсисом (см., в частности: Алексеев, 1986, с. 57-60; он же, 1989, с. 58-66). Значительно меньшее число исследователей, вслед за Г.Ф. Дебецем, видят в генетических исследованиях выход из того тупика, в который зашла этническая антропология в своем классическом варианте.

В представлениях Г.Ф. Дебеца, используемые в популяционной генетике методы определения набора диагностических признаков, кроме известных недостатков, определяемых воздействием известного фактора «дрейфа генов», характеризуются рядом обнадеживающих достоинств. «Во-первых…», эти признаки «обычно определяются немногими факторами и характер их передачи по наследству устанавливается достаточно точно». Во-вторых, их изменение детерминировано иными факторами, нежели непосредственное давление «… внешней среды». Наконец, «техника их определения (по принципу есть–нет) исключает (выделено нами – М.Т.) субъективность определения» (Дебец, 1986, с. 22-23).

Подобная оценка методов генетического анализа популяционной структуры североазиатских монголоидов и возможностей вы-

хода на решение проблем этногенеза, по мнению самих генетиков, базируется на том, что извлекаемая информация об исходном (предковом) начале современных этнических общностей исходит не из морфологии «черепа, лица, покровов», а из диагностичного набора генов. При этом, «чем более они (гены – М.Т.) детерминируют антропологические признаки, тем выше их значимость в диагностике» форм и степеней родства сравниваемых популяций как в синхронии, так и в диахронии (Рычков, Ящук, 1986, с.149).

Более того, в отличие от морфологической дифференциации, определяемой непосредственным воздействием природной и социальной среды, «генетическая… порождается преимущественно дрейфом генов». В том случае, когда «процессу случайного дрейфа генов ничто не противостоит», генетическое разнообразие популяций, отделившихся от общей предковой основы, со временем достигает 100%. Это означает, что все образующиеся новые «популяционные субъединицы утрачивают общие гены… (выделено нами – М.Т.) и становятся обладателями своих полностью уникальных генофондов» (Рычков, Ящук, 1986, с. 150).

Полученная методами популяцинной генетики общая оценка положения тунгусов-эвенков в систематике современных монголоидов Северной и Центральной Азии, на наш взгляд, не противоречит данным классической антропологии, а лишь существенно их уточняет и детализирует. Так же как и данные краниологии результаты серологического и биохимического анализа выделенных в составе сибирских монголоидов комбинаций групп генов системы «АБО» разделяют автохтонов Северной Азии на ряд «макропопуляций».

Схематическое отображение геногеографических данных, полученных в результате анализа выборок по 24 современным этносам Сибири и Дальнего Востока, по мнению генетиков, наглядно демонстрирует реальную систему направлений межпопуляционных/межэтнических миграций генов, и достаточно надежно документирует

некогда сложившуюся и действующую в настоящее время структуру межэтнических брачных связей (Рычков, 1973, с. 13, рис. 14). В свою очередь, разработанная Ю.Г. Рычковым схема межпопуляционных направлений миграций генов (см. рис. 4) устанавливает следующий порядок межэтнических брачных связей в среде автохтонного населения Северной Азии.

Классический пример эндогамной популяции - изолята представлен группой «южносибирских монголоидов» Алтая (кумандинцы, тубалары, теленгиты, алтай-кижи, шорцы и лебединцы), а также алеутами. Все остальные народы Сибири, Дальнего Востока и Северо-востока характеризуются непрерывными (протяженностью от древности до современности) потоками обмена генетической информацией на этническом и надэтническом уровнях.

Центральное ядро (генофонд) сообщества сибирских монголоидов представлено в схеме популяциями эвенков (№ 1) и эвенов (№ 2), которые объединяются в **близкородственное** макропопуляционное образование (Катангский антропологический тип) и характеризуются, по преимуществу, **однонаправленным перетоком генов** в другие этносы - популяции. При этом прямые и наиболее интенсивные потоки генов из эвено-эвенкийского генофонда фиксируются в направлении хантов и селькупов (№№ 3,6), чукоч и коряков (№№ 7-10), негидальцев (№ 14) и тофаларов (№ 16). Двусторонне направленный обмен генами эвенкийско-эвенского генетического ядра фиксируется лишь в отношении популяций бурят (№ 15) и ульчей.

Таким образом, данные популяционной генетики, с одной стороны, убедительно показывают, что современная структура большей части североазиатских монголоидов, представлена совокупностью дифференцированных на этническом уровне популяций. С другой, постоянно действующая система обмена генетической информацией образует в пределах сибирских монголоидов непрерывную сеть

генетически связанных популяций. Более того, генетики убеждены в том, что «по своей точности метод генохронологии не уступает… радиоуглеродному» и работает в диапазоне от «десятков до десятков тысяч лет» и, исходя из этой посылки, датируют общую генетическую основу североазиатских монголоидов возрастом «не менее 19,5 тыс. лет» (Мовсесян, 1973, с. 78, 81-82; Рычков Ящук, 1986, с. 150; Рычков, Балановская, 1999, с. 157, 165).

Генетики также полагают, что изучение генофонда современного народонаселения Сибири и Дальнего Востока позволяет реконструировать генеалогическое древо «столь отдаленных во времени… общностей, как, например, языковые семьи…», а существующее современное генетическое разнообразие этносов Сибири «на 70%» является результатом индивидуального, относительно самостоятельного этногенеза (Рычков, Ящук, 1986, с. 153-154). Рычков Ю.Г. и его соавторы, кроме того, подтверждают обоснованность бытовавшей в классической антропологии 1930-1950-е гг. гипотезы о присутствии в пространстве Сибири некой верхнепалеолитической «прапопуляции» (группы популяций), с которой связаны происхождением современное американоидное аборигенное население Нового Света и монголоидное коренное население Сибири. Более того, по данным генетики предковые популяции Америки и Северной Азии находились «в столь близком генетическом родстве… какое сегодня можно наблюдать среди популяций», для которых выделение из общего этнического «ядра» является событием относительно недалекого исторического прошлого (Рычков, Ящук, указ. соч., с. 157).

Изложенное не исключает того, что вслед за «классическими» антропологами генетики также полагают, что современные популяции Сибири не являются прямыми потомками древних, а являют собой примеры дошедших до наших дней, однако измененных смешением на межэтническом уровне древних этнокультурных общностей (Рычков, 1973, с. 18). Из этого следует, что с позиций современной

антропологии и популяционной генетики всякая популяция выделенная по специфическому набору генов представляет собой общность, все составляющие которой «гомозиготны в отношении однородных генов» и, одновременно, «будут иметь фенотип, (выделено нами – М.Т.) наиболее соответствующий преобладающим условиям внешней среды» (Харрисон, 1979, с. 191, 202).

Такое состояние популяции, при котором сложившаяся комбинация определенных генов остается неизменной в нескольких поколениях, по мнению генетиков, практически не достижимо. В реальных условиях воздействие среды ведет к заметным изменениям «концентрации генов в поколениях» (Рычков, 1973, с. 5). Одним из факторов, стимулирующим эволюцию генетической структуры популяции и обеспечивающим ее адаптацию к условиям конкретной природной среды, является естественный отбор (Майр, 1974, с. 109). В то же время однородность (гомозиготность) генотипа, как правило, не является единственно возможным вариантом адаптации популяции в конкретной среде.

Любому гену из генофонда популяции свойственна «плейотропия» или «полифения», т.е. наличие нескольких вариантов реакции на возможные изменения среды, которая выполняет роль стабилизирующего фактора и обеспечивает максимальную возможность выживания популяции в любой природно-климатической обстановке. С эффектом «плейотропии» в генетике принято связывать различение таких понятий как собственно «генотип» и «фенотип» (Майр, указ. соч., с. 174-175). Генотип, как правило, выступает в виде некой наследуемой программы нескольких вариантов эволюции генофонда популяции в условиях меняющейся среды, а «фенотип» - вариант адаптации генофонда популяции в конкретной среде, реализованный в ходе естественного отбора или под воздействием иных факторов, в частности, мутации генов или метисации популяций (Иванов, 1971, с. 217).

Механизм наследования генетического кода, насколько нам известно, несмотря на успехи генетиков последних лет, до настоящего времени до конца не изучен. Впрочем, для нашего исследования это обстоятельство не имеет особого определяющего значения, поскольку межпоколенная передача (в диапазоне от десятка до тысяч лет) основной части генетической информации, отвечающей за эффективное воспроизводство популяций - практически доказана. Не оспаривается выявленная по результатам исследований генофонда монголоидов Северной Азии связь «лингвистических и генетических расстояний между народами», выраженная в виде хронологических соответствий генетической и лингвистической дифференциации народов, сопряжений во времени основных этапов генезиса физического типа и языка современных народов Сибири и Дальнего Востока (Рычков, Ящук, 1985, с. 99; Рычков, Балановская, 1999, с. 165).

Исследования группы Ю.Г. Рычкова проведенные на «живом» (серологическом) материале показали, что исходная (верхнепалеолитическая) популяция – носитель базового генофонда современных этносов, в своем развитии пережила шесть этапов дифференциации, занявших по времени жизнь 780 поколений. При этом в интервале между двумя смежными этапами дифференциации эволюция популяции характеризовались тем, что «исходные этносы, разрастаясь», преобразовывались в этнически общности «более высокого» иерархического уровня – «этносы новых поколений», а общее время этих преобразований соответствовало времени жизни 130 поколений (Рычков, Ящук, 1985, с. 100-101, 108-109).

Простой арифметический расчет дает нам основания предполагать, что, исходя из средних темпов смены поколений в 25 лет, каждый из этапов дифференциации должен был занимать примерно 3250 лет. По расчетам генетиков выделение североазиатских монголоидов из общего генетического ствола и определенная стабили-

зация данной популяционной системы состоялись уже в неолитическое время. Однако в последующей этногенетической истории современных народов Сибири «неолитическое население не играло самостоятельной роли» (Мовсесян, 1973, с. 81).

Анализируя межпопуляционные направления миграций генов внутри эвенкийско-эвенского «генетического ядра» и в масштабах связанных с ним популяций арктической и уральской рас, байкальского и центральноазиатского антропологических типов, Ю.Г. Рычков указывает на то, что межпопуляционный перенос генетической информации обеспечивался постоянно действующей от древности до современности системой межэтнических браков. Расчетная интенсивность этих связей в среднем составляла 2 человека за одно поколение при эффективном размере популяции (численности репродуктивной части) в 200 человек (Рычков, 1973, с. 15). Следует попутно заметить, что фиксируемые генетиками направления межпопуляционных миграций генетической информации, в целом, совпадают с этнографически зафиксированными метисациями диалектных групп и территориальных общин разных этнических общностей. В результате таких смешений, очевидно, формировались как новые этнические общности, так и этнографические группы народов метисного происхождения (о таковых см.: Василевич, 1969, с. 274; Гурвич, 1980, с. 222-224, 226; Таксами, 1980, с. 203-206; Туголуков, 1985, с. 38-45, 68).

В то же время Ю.Г. Рычков полагает, что классическая антропология излишне абсолютизирует расогенетическое значение миграций и межэтнических смешений, замещает сложный и противоречивый процесс формирования морфологического и этнокультурного облика современных этносов процессами «мгновенных» перемещений «готовых» этнических общностей и их механического смешения с аборигенным (палеоазиатским) населением среднетаежных и северных таежно-лесотундровых территорий. На самом деле какие-

либо следы массовых (на уровне популяций) миграций тунгусоязычного субстрата из южных областей Сибири и Дальнего Востока не только не фиксируются данными классической антропологии, но и противоречат более детальным наблюдениям популяционной генетики (Рычков, Балановская, 1999, с. 163).

Опубликованные в серии статей взгляды Ю.Г. Рычкова, как известно, базировались на результатах изучения генетической информации, полученной в ходе сравнительного анализа групп крови из представительной выборки среди современных эвенков Средней Сибири (Рычков и другие, 1974а, с. 3-26; они же, 1974 б, с. 3-17; они же, 1976, с. 38-56). Отсылая читателей к своей предыдущей публикации (Рычков, 1961), а также к публикациям результатов исследований Н.С. Розова и Т.А. Трофимовой (Розов, 1961; Трофимова, 1968), Ю.Г. Рычков утверждает, что уже в неолитическую эпоху на огромном пространстве таежных регионов Приуралья, южной Сибири, Алтая, Забайкалья, Якутии и побережья Охотского моря были расселены популяции «низколицых монголоидов». Морфологически и генетически эти популяции соответствуют **«катангскому антропологическому типу»** современных западных эвенков, эвенов, тофалар, тувинцев-тоджинцев и юкагиров.

Тем самым Ю.Г. Рычков подчеркивает, что сложившиеся в классической антропологии представления о местоположении первичного «центра происхождения тунгусов», как и объяснения механизма широкого распространения тунгусов миграциями древней генетической основы и расселения «мигрантов - пратунгусов» в границах современного ареала обитания, данными популяционной генетики не подтверждаются (Рычков и другие, 1974 а, с. 4-5). Он несогласен с мнением М.Г. Левина и И.М. Золотаревой (Золотарева, 1968; Левин, 1962), что «катангский антропологический тип» представляет собой особый «западный вариант физического типа» более обширного «палеоазиатского» (праюкагирского) типа сибирских

монголоидов, сложившийся в процессе смешения мигрирующей с юга на север «тунгусоязычной» группы с палеоазиатскими предками юкагиров (Рычков и др., 1974 а, с. 5-6).

Результаты исследований генетической структуры современной популяций сибирских монголоидови ее проекции в древние популяции Северной Азии, по мнению Ю.Г. Рычкова, показывают, что максимальная концентрация генетических маркеров «катангского типа» обнаруживается среди эвенков Средней Сибири, на территории непосредственно примыкающей к прародине тунгусов. Именно с этим центром, оказывается связанным наиболее уникальное среди народов Сибири распределение генов групп крови АВО, которое охватывает все локальные группы «северных тунгусов». По мере продвижения на восток частота этого распределение групп крови постепенно убывает и обнаруживает большое сходство с распределением генов среди индейского населения Америки.

По убеждению Ю.Г. Рычкова реальность «катангского генотипа» как исходного генофонда современных эвенков и эвенов, локализация его ареала в пространстве Средней Сибири в непосредственном соседстве с ареалом распространения «байкальского антропологического типа», наконец, синхронное и генетически связанное с «праюкагирами» сосуществование доказываются всей совокупностью данных популяционной генетики и антропологии. Как и «байкальский», «катангский» антропологический тип не обнаруживает прямой связи с этногенезом какого-либо из конкретных современных тунгусоязычных народов, однако демонстрирует линии их преемственного развития «от неолитической эпохи независимо от того, имела ли место…» смена этнического самоназвания того или иного народа (Рычков и другие, 1974 а, с. 6).

Анализируя популяционную структуру исходного генофонда тунгусов-эвенков, генетики приходят к убеждению, что в начальной фазе этногенеза она включала 20 генетически и культурно близко-

родственных популяций - экзогамных производственных коллективов (территориальных общин), репродуктивная часть которых была представлена от 100 до 200 человек (Рычков и другие, 1974 б, с. 10; Рычков, Ящук, 1985, с. 109). Аналогичная структура социальных связей была выделена по результатам изучения сложившейся не позднее XVI – начала XVII в. системы браков у эвенков Средней Сибири. В указанное время в пространстве Средней Сибири сосуществовали три эндогамные группы популяций: «а) в верховьях Вилюя и среднем течении Нижней Тунгуски; б) на Подкаменной Тунгуске и Чуне (приток Подкаменной Тунгуски – М.Т.) и, в) в низовьях Нижней Тунгуски» (Рычков и другие, 1974 а, с. 25). Изучение половозрастной структуры этих групп в масштабах среднего интервала между сменой поколений показало, что эффективный размер «репродуктивной» группы (20-25 лет), на которую приходится наибольший процент браков и деторождений, «абсолютно мал и составляет в среднем 27 человек». По оценкам генетиков, это должно было соответствовать достаточно высокому проценту близкородственных браков и инбредности, таким наименее благоприятным для воспроизводства показателям, как «частота спонтанных абортов, рождаемость, смертность и среднее число выживающих детей на семью» (Рычков и другие, 1974 б, с. 9-16).

Однако группой Ю.Г. Рычков установлено, что негативные следствия близкородственных браков устранялись сложившейся в древности и действующей по настоящее время системой межэтнических браков и «брачных предпочтений». Последнее предполагало, что потенциальные брачные партнеры выбирались в среде состоящих в максимально дальнем родстве и удаленных на сотни километров общинно-родовых коллективах. Очевидно, именно этим объясняется выявленная среди эвенков высокая интенсивность межпопуляционных миграций генов, которая в среднем обеспечивала смену 6% генов за одно поколение. По этому показателю, эвенкийские попу-

ляции более чем в 5 раз превосходят уровень генных миграций на континенте Северной Азии. Тем самым «пространственная организация эвенкийской популяции… принципиально отличается» от остальных популяций Северной Азии, «имеет сетевидный характер без оформленного ядра – источника генов» и представляет собой совокупность расселенных на огромной территории от Енисея до Тихого Океана и «интенсивно взаимодействующих» территориальных групп (Рычков и другие, 1974 б, с. 16-17).

Напомним, что убывающие антропологические и генетические признаки «катангского типа» фиксируются в диапазоне от неолита до современности у общностей уральской и алтайской языковых семей и лишь в эвенкийской достигают своей максимальной концентрации. В этой связи определенный интерес имеют выводы генетиков о том, что отделение эвенкийской группы популяций от общего ствола североазиатских монголоидов, ее относительно изолированное развитие до достижения равновесия между числом генов и их фенотипическим проявлением (стабилизацией популяционно-генетической структуры), соответствует шестому этапу дифференциации и времени жизни 130 поколений (≈ 3250 лет). В свою очередь общее время преемственного развития стабилизировавшейся популяционной структуры эвенков-тунгусов, по расчетам генетиков определяется «не менее чем от рубежа нашей эры…, т.е. в пределах двух и более тысяч лет» (Рычков и другие, 1976, с. 43-45). Таким образом, общий фиксированный генетической информацией возраст эвенкийской популяции составляет примерно 4,5-5 тыс. лет и это вполне соответствует предположению М.Г. Левина о том, что в феномене эвенков мы наблюдаем редкое сочетание **исторической молодости этноса с древностью свойственного ему физического типа.**

До недавнего времени основанные на изучении «живого» генетического материала реконструкции формирования популяционной

структуры тунгусов вызывала скептическое отношение классической антропологии. Критические замечания высказывались в первую очередь в отношении не подтвержденной соответствующими данными по ископаемым палеоантропологическим источникам неолита-бронзы надежности метода определения древней генетической основы физического типа эвенков. Однако, разработанный в последние десятилетия XX – начале XXI вв. метод получения генетической информации из костных материалов погребений, сравнение ДНК древних и современных популяций демонстрируют убедительные примеры реконструкций восходящих от древности линий генетической преемственности современных популяций, что активно используется рядом исследователей в реконструкциях этногенеза сибирских этносов (например, Посух и другие, 1999; Овчинников и другие, 2000, с. 222-223; Воевода и другие, 2000, с. 224-230).

Непосредственное отношение к теме нашего исследования имеют результаты генетических исследований 19 образцов костных остатков из неолитического могильника Усть-Ида I, частично раскопанного в 1990-х гг. В.И. Базалийским в Приангарье. Полученная по C^{14} абсолютная дата указывает на возраст 5572 лет, что в совокупности со специфическим набором сопровождающего инвентаря позволяет относить исследуемые погребения к «серовскому» этапу неолита (Наумова и другие, 1997, с. 1418-1424).

Предлагая свои взгляды на наиболее часто обсуждаемую в антропологии проблему «преемственности» между современным и неолитическим населением Прибайкалья, авторы указанной публикации подчеркивают, что по своим генетическим характеристикам население «серовского этапа» неолита «является предковым по отношению к современному (выделено нами – М.Т.)…, если последнее рассматривать… по усредненным характеристикам всех коренных народов Сибири». В тоже время каждый из современных народов непосредственной генетической связи с неолитом не имеет

и, в буквальном смысле, не является его прямым потомком (там же, с. 1418-1419).

Связь «серовской» популяции с современными народами Сибири определяется сопоставлением ее генетических характеристик с генетическими данными по чукчам, эскимосам бурятам, якутам, эвенкам, манси и монголам (там же, с. 1420). Анализ масштабов «генетического расстояния», отражающих степень различий между сопоставляемыми популяциями, по мнению О.Ю. Наумовой и ее коллег, позволяет определить расчетное время дифференциации исходной популяции и начала выделения из нее современных популяций. Так, например:

- начало выделения из общего ствола монголоидов неолитической («серовской») популяции и группы центральноазиатских монголоидов (собственно монголов) датируется временем 9407 лет назад;
- начало дифференциации сибирских монголоидов на уральскую и североазиатскую расы датируется временем в 6241 лет от наших дней;
- наконец, начало выделения из представленной в могильнике Усть-Ида популяции «серовцев» той совокупности популяций, с которыми связаны современные эвенки, буряты, якуты, а также чукчи и эскимосы, датируется временем в диапазоне 5542±52 - 5652±98 лет назад. Кроме того, по данным радиуглеродного датирования представленная в могильнике популяция охватывает почти 800-летний период её функционирования, а самое «молодое» захоронение имеет калиброванный возраст 6010 лет от наших дней (Наумова и другие, 1997, с. 1424, табл. 9).

Общие итоги изучения генофонда сибирских монголоидов и определения соотношений между неолитическим и современным населением Сибири изложены в отдельной публикации С.Ю. Рычкова.

1. Неолитическое население Прибайкалья «по структуре митохондриального генофонда (набору линий мтДНК), уровню внутрипопуляционного разнообразия… не отличается коренным образом от современного населения Северо-Восточной Азии».

2. «Низкое… внутрипопуляционное разнообразие мтДНК в современном населении Сибири является наследием неолитических предшественников, а его эволюционный возраст восходит к эпохе верхнего палеолита (26-12 тыс. лет назад)».

3. Начало дифференциации исходной верхнепалеолитической основы и «формирование современной этногенетической структуры континентального монголоидного населения Восточной Сибири лежит в эпохе Нового Каменного Века».

4. «Неолитическое население Прибайкалья имеет прямых генетических преемников в современной Сибири и соответствует условию «прапопуляции» для современных коренных народов…» (Рычков, 2004, с. 21).

Следует, наконец, указать на то, что аналогичные соображения по поводу преемственных связей неолитического населения Прибайкалья и современных эвенков встречены нами еще в двух публикациях. Прежде всего, следует отметить работу Н.Н. Гончаровой. Исходя из анализа данных молекулярно-генетического анализа структуры сибирских монголоидов, в котором в качестве реперного образца чистоты монголоидных признаков были использованы данные по эвенкам, Н.Н. Гончарова пришла к выводу, что популяции уральской и байкальской рас в неолитическое время состояли в определенном генетическом родстве и имели общий изолированный от центральноазиатского, очаг расообразования (Гончарова, 1998, с. 145).

Неожиданные сходства между генетически связанной с северными тунгусами неолитической (серовско-глазковской) группой популяций Прибайкалья и синхронными группами хунну, насе-

лявшими северо-запад Монголии и представленными в могильнике Эжин–Гол, были обнаружены канадскими генетиками (Mooder etc., 2006, p. 349-361). Во-первых, по данным Карен П. Мудер и ее коллег, анализ мтДНК двух серий погребений из могильников Локомотив («китойцы») и Усть-Ида I («серовцы и глазковцы») показал их принадлежность к биологически разным матрилинейным группам. Так, данные по «китойцам» сопоставимы и обнаруживают значительные сходства с характеристиками мтДНК неолитических обитателей Западного Саяна и Алтая, а также с современными кетами и шорцами. В свою очередь, «серовцы» и «глазковцы», представляющие собой биологически и культурно единую общность, обнаруживают определенные сходства с хунну из могильника Эжин-Гол и, по мнению Карен Мудер, могут претендовать на роль вероятных генетических предков таких современных этнических общностей Восточной Сибири как эвенки, сойоты, тувинцы, тоджинцы и буряты.

Подводя итоги анализа современных взгдядов на архаические начала физического типа современных эвенков, следует отметить следующее.

Безусловно, весьма соблазнительным представляется вести происхождение физического типа эвенков от той гипотетической совокупности популяций, которая по расчетам генетиков населяла таежную зону Сибири в эпоху верхнего палеолита и представляла собой недифференцированную группу североазиатских монголоидов, носителей близкородственных генетических и морфологических признаков «уральской» и «байкальской» рас. Вместе с тем, такой смелый вывод, на наш взгляд, ничем не подкреплен, поскольку генетические и антропологические данные для этого времени пока отсутствуют.

Более убедительным и важным для нас представляется общее для генетиков и классических антропологов признание того, что с эпохи неолита и до современности в популяциях «уральской» и

«байкальской» рас, потомками которых являются современные угро-финны, самодийцы и тунгусо-маньчжуры, наблюдается постоянный и досточно интенсивный обмен генов за счет межпопуляционных браков, сопровождающийся столь же протяженными языковыми и этнокультурными связями на уровне контактирующих этнографических групп.

Столь же убедительными представляются выводы генетиков и классических антропологов по поводу того, что архаическая основа физического типа современных эвенков и эвенов, скорее всего, восходит как минимум к двум группам популяций. Одна из них характеризуется «байкальским», другая – «катангским» комплексом антропологических признаков. В то же время «катангский антропологический тип», выделенный по данным краниологии и популяционной генетики в неолитических сериях погребений Туой-Хая, Нижняя Джилинда и Усть-Ида, по мнению генетиков является наиболее древним «палеоазиатским» (верхнепалеолитическим) генетическим основанием физического типа современных тунгусоманьчжуров, тюркоязычных тофалар и юкагиров. С этой точки зрения «байкальский антропологический тип», выделенный в палеоантропологическом материале могильников и погребений Забайкалья – Приморья, скорее всего, является фенотипом «палеоазиатской» совокупности популяций «классических монголоидов», формировавшимся в неолитическую эпоху в условиях интенсивных связей с популяциями - носителями центральноазиатского комплекса морфологических признаков.

Тем самым результаты исследований морфологии и генетики сибирских монголоидов с очевидностью опровергают предположение, что физический тип «западной» (средне-сибирской) и «восточной» (забайкальско-приамурской) территориальных группировок тунгусов–эвенков формировался на разных генетических основах. Данные генетики, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о

том, что, начиная с неолита и до современности, все диалектные группы эвенков представляют собой сообщество генетически связанных популяций. С этой точки зрения фенотипические различия разных территориальных групп эвенков, выявленные методами классической антропологии, могут рассматриваться как результат индивидуального развития, локальный вариант адаптации общего генофонда в конкретной природной и социальной среде. Частично, это разнообразие может объясняться тем, что «западная» и «восточная» группы популяций развивались и формировались в современном виде в условиях продолжительных и интенсивных этнокультурных контактов с популяциями «уральцев» (северовосточные самодийцы) и «центральноазиатского» антропологического типа (якуты и буряты).

2.4. Архаическая основа языка современных эвенков

По сложившейся в конце XIX в. традиции эвенкийский язык, как составная часть тунгусо-маньчжурской языковой общности, относится к «алтайской языковой семье». Корневую основу входящих в нее языков принято связывать с «материнским праязыком», сложившимся в древности в локальном очаге Алтайского нагорья (по А. Кастрену и В.М. Иллич-Свитычу) или Восточного Средиземноморья (по А.Б. Долгопольскому) и позднее разнесенным волнами прамонгольских, пратюркских и пратунгусских мигрантов по всему нынешнему ареалу их обитания (Викторова, 1980, с. 89).

Вероятность существования в древности некой «корневой основы» современных тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков до настоящего времени обосновывается ссылками на присутствие в лексике указанных этнолингвистических общностей целого ряда корневых идиом. Вместе с тем, число сторонников и противников существования «алтайского праязыка» примерно равновелико, а «генетические связи» алтайских языков не имеют достаточно убедительных доказательств.

В частности, ряд исследователей указывает на то, что общие «алтайские» лексемы имеют довольно ограниченное распространение и обозначают либо этнонимы - *Мангы, Саман, Канга, Бая, Эджен* (Цинциус, 1972), либо элементы ландшафта - *кадар – скала, утес; алас~аглах - степь, луг; дака~дап'ка – берег, край, межа, граница; дабан~даван – хребет, перевал, волок; тала – солонец* (Василевич, 1969, с. 39-40), либо являются терминами родства и свойства - *«мать, самка, отец, дядя, бабушка и т.д.»* (Романова и другие, 1975).

Подобные, построенные на лексических параллелях, доказательства генетического родства «алтайских» языков, представляются сомнительными уже по причине отсутствия каких либо «точных

количественных и качественных критериев, позволяющих определить, какая масса структурных различий… является критической… когда следует говорить уже не о диалектах одного языка, а о разных языках» (Крюкова, 1994, с. 62). Как следствие этого, по оценкам разных исследователей в структуре эвенкийского языка может быть выделено от 14 до 50 диалектов (рис. 5), а западных и восточных эвенков предлагается считать носителями разных по происхождению языков. Очевидно, по этим причинам ряд языковедов полагает, что реконструкции «прародительской» основы эвенкийского языка, без привлечения данных фонетики и морфологии заведомо недостоверны (Викторова, 1980, с. 70-71; Нимаев, 1996, с. 134-136).

На наш взгляд, недостоверность подобного метода реконструкций «алтайского праязыка» проистекает также из того, что лексические параллели эвенкийскому языку отмечаются далеко за пределами алтайской семьи. Так, например, они присутствуют в лексике коряков и рассматриваются как следы древних контактов, а наличие значительного числа тунгусо-маньчжурских соответствий в лексике корейского и японского языков (Сравнительный словарь…, 1977) считаются основой для предположений о том, что «исторические корни» корейцев и японцев частично связаны с палеосибирскими носителями «алтайского праязыка».

Частным следствием наблюдаемого сегодня возрождения интереса к исследованию проблемы «ностратических языков» явилось предположение, что «алтайская семья» языков входила в состав ностратической евразийской лингво-культурной общности и может считаться «несколько древнее большинства других семей Евразии…» (Андреев, 1986; Долгопольский, 1964; он же, 1971, с. 106-119; Дыбо, 1994, с. 39-51; Иллич-Свитыч, 1971; Старостин, 1991, с. 62; Mong-Liong Choy, 1984, p. 202). Ряд лингвистов полагает, что признание существования ностратических праязыков имеет вполне объективные фактические основания, а выделенные древнейшие

изоглоссы позволяют объединять группы «уральских», «алтайских» и «дравидских языков» с группами западной ностратической общности (индоевропейские, картвельские, афразийские языки) [Иванов, 1985, с. 147-150; Беккер и другие, 1985, с. 150-158].

Так, например, анализируя материалы исследования системы «двухсогласных корней» позднего индоевропейского «праязыка», Н.Д. Андреев выделяет в нем 203 лексемы, из которых «198 присутствуют как в составе уральских, так и… алтайских производных форм…». При этом ранний индоевропейский язык представлял собой одну из трех ветвей «бореального праязыка…, двумя другими [ветвями] которого были раннеуральский… и раннеалтайский…». Известно, что климатический период «бореала» соответствует раннему голоцену и датируется 8-9 тыс. лет от наших дней. Как полагает Н.Д. Андреев, существовавшая в этот период лингвокультурная общность индоевропейских, уральских и алтайских языков, очевидно, уже была представлена достаточно изолированными языковыми системами. Фонетическая, семантическая и лексическая близость этих языков была неравномерной, а количество расхождений между ними увеличивалось по мере территориального удаления носителей языков друг от друга (Андреев, указ. работа, с. 3-4).

Выводы Н.Д. Андреева перекликаются с предположениями антропологов, что древняя основа алтайских (следовательно, тунгусо-маньчжурских) языков восходит к верхнепалеолитической группе монголоидных популяций Северной Азии. В принципе, это проиллюстрировано в той схеме дифференциации языков древних автохтонов Сибири и Дальнего Востока, которая предложена в цитированной нами выше публикации Ю.Г. Рычкова (рис. 6).

Вместе с тем, предположение о том, что корневая основа языка тунгусов-эвенков сформировалась уже в эпоху финального палеолита - мезолита, безусловно, интересно, но вряд ли соответствует реалиям формирования собственно тунгусо-маньчжурской этно-

культурной общности. В своих сомнениях мы исходим из того, что формирование архаической группы популяций, которая изолировалась от остальной массы североазиатских монголоидов и с которой генетически связано происхождение эвенков, завершилось не ранее «серовского» этапа неолита. Очевидно, с этим же временем следует соотносить начало формирования тех особенностей культуры, значит, и языка, которые характеризуют эвенкийскую общность как отдельное подразделение в составе коренного населения Северной Азии.

Как известно, большая часть собственно эвенкийских лексем обнаруживает генетические соответствия, по преимуществу, в остальных тунгусо-маньчжурских языках и, в значительно меньшем количестве, в языках алтайской и уральской языковых семей. Тем самым следует уточнить, являются ли выявленные тождества в тунгусо-маньчжурских, тюркских и монгольских языках свидетельствами их происхождения от общего «языка–предка» или же они результат более поздних контактов тунгусов-эвенков с предками бурят и якутов.

Как считает С.А. Старостин, несмотря на наличие в алтайских языках «регулярных фонетических соответствий…, «тунгусо-маньчжурская система вокализма является <u>более архаичной</u>, чем тюрко-монгольская…». Существование «алтайского праязыка в целом представляется С.А. Старостину исторической реальностью. В то же время, относительно небольшое (в сопоставлении с другими языковыми семьями) число выделенных по сотне корневых лексем соответствий в «алтайских» языках (16-18 для тюркских и 21-22 для монгольских) указывает на то, что уже на уровне древних лексических фондов они были «примерно равно удалены друг от друга» (Старостин, 1991, с. 23-24).

Со ссылкой на Л. Лигетти С.А. Старостин сообщает, что отсутствие надежных доказательств реальности существования об-

щей «алтайской праформы» тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков объясняется двояко: а) либо тем, что «так называемые алтайские языки не восходят к общему праязыку»; б) либо это «родственные языки», но их современное состояние «явилось результатом эволюции столь специальной и неравномерной, что их родство не может быть доказано… (выделено нами – М.Т.)». Поскольку же после распада алтайской семьи представленные в ней «языки… продолжали контактировать…», постольку они «изобилуют сравнительно поздними взаимными заимствованиями» (Старостин, 1991, с. 62; Дыбо, 1996, с. 4), на которые в свое время в ряде работ указывала Г.М. Василевич (1949, с. 157-160; она же, 1966, с. 339).

Современная лингвистика не ограничивается обычными для начального этапа развития сравнительного языкознания доказательствами в виде аналогий в лексическом фонде сопоставляемых языков. Считается, что происхождение «от одного языка предка» может быть доказано лишь при таких условиях, как:

« 1) наличие между… языками системы регулярных фонетических соответствий;

2) наличие достаточно большого количества совпадающей базисной лексики…;

3) …наличие… совпадающих грамматических морфем» (Никонов, 1980, с. 26-34; Серебренников, 1982, с. 7; Старостин, указ. соч., с. 3).

Нам представляется, что сходства в лексике, по причине известного универсализма мышления первобытного человека, могли возникать и охватывать строго определенные категории семантических праформ и конвергентно формирующихся лексем, как-то - наименований частей тела человека и животных, географических и ландшафтных объектов, космических и природных явлений и т.д. (Леви-Стросс, 1994, с. 38). Последующее развитие этих лексем в условиях

непрерывных контактов носителей разных языков и перекрестных лексических заимствований, очевидно, могло завершиться формированием в корневой лексике ряда семантических схождений, которые фонетически и морфологически могут указывать на признаки генетического родства (Старостин, указ. соч., с. 125).

Так или иначе, эта группа соответствий представлялась Г.М. Василевич, В.И. Цинциус и другим тунгусоведам той совокупностью доказательств, на основе которых отстаивалась гипотеза «алтайского праязыка». Так, в понимании В.И. Цинциус, лексические параллели в монгольских, тюркских и тунгусоманьчжурских языках формировались в глубокой древности в нерасчлененной среде «алтайской языковой семьи», а языковое разнообразие тунгусов, с точки зрения Г.М. Василевич, отражают процессы иноязычных заимствований – следствия поздних этнокультурных контактов эвенков с самодийцами, бурятами и якутами (Василевич, 1946, с. 46-47; она же, 1949 б, с. 15-16; она же, 1949 а, с. 48-52; она же, 1975, с. 3-8).

Г.М. Василевич полагала, что лексический фонд современного эвенкийского языка представлен двумя разновременными семантическими слоями. Первый, наиболее древний, включает описательные названия «рельефа, изрезанного невысокими горами и реками». Второй слой, сложившийся в период дифференциации тунгусоманьчжурской языковой группы на северную и южную ветви, содержит «лексику, связанную с природой сибирской тайги…, охотой, деталями жилища, основными частями одежды» (Василевич, 1946, с. 50).

Анализируя материалы языка, фольклора и некоторые элементы материальной культуры, Г.М. Василевич выделяет четыре группы палеосибирского населения, каждая из которых в той или иной мере имеет отношение к формированию языков современных эвенков и эвенов. Одна из групп, условно названная «енисейской», отличалась специфическими суффиксальными окончаниями на «*–нга,*

-нда, -ра». По Г.М. Василевич, эта группа являлась «предками» современных тунгусов и оставила следы своего существования в таких гидронимах как ***Хатанга*** и ***Катанга*** (названия верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок), ***Анабара, Таймура*** (Василевич, 1949 а, с. 48).

Три других группы, по Г.М. Василевич, характеризуются взаимными лингвистическими и культурными связями «праэвенков» с палеоазиатским населением Сибири. На это, в частности, указывает:

- наличие «значительного числа общих корней в чукотско-корякских и тунгусских енисейских говорах»;
- общий для эвенков, части эвенов, селькупов и восточных групп ненцев способ образования числительных второго порядка;
- замещение «шекающего» диалекта у части северо-западных тунгусов на «хакающий», что объясняется включением в их состав групп юкагироязычного населения Средней Лены (Василевич, 1949 а, с. 50). Впрочем, приводя примеры наиболее древнего, сохранившегося от «алтайского праязыка» слоя эвенкийской лексики, Г.М. Василевич отмечает, что представленные в нем «слова и морфологические элементы» распространены не во всех эвенкийских говорах и диалектах (Василевич, 1975, с. 4-8).

На это же указывают материалы Сравнительного Словаря Тунгусо-маньчжурских языков (ССТМЯ).

1). Термин ***Кадар - хадар***: в монг., бур. – «*када-хада*», якут. – «*ха-дар-хадага*» - «скала, утес», имеет соответствия практически <u>во всех</u> тунгусо-маньчжурских языках (ССТМЯ, 1975, с. 360). В словаре Б.В. Болдырева (1994, с. 272) и ССТМЯ (1975, с. 27, 28, 185-186, 302) нами найдено три <u>семантически однокоренных</u> синонима *Кадар*. Первый из них, «*давакит, даван - перевал*», производный от глагольной формы *«дава-» - «перевалить»*, распространен в отдельных говорах западных и восточных эвенков. Вместе с тем от

той же формы глагола происходит термин *«давда, дабда»*, который имеет ряд других семантически однородных значений (в частности, *«потерпеть, поражение, быть побежденным»*) и распространен во всех тунгусо-маньчжурских языках, включая собственно маньчжурский.

Следующий термин - *«алан – алакит»*, представленный лишь в говорах восточных эвенков, эвенов и негидальцев, обозначает действие - *«перевалить через хребет»* и только в маньчжурском и нанайском существительное *«низкие горы, перевал»*.

Наконец, термин *«икэн»* - *«перевал, седловина, узкое место»*, имеет более ограниченное распространение и бытует в говорах восточных эвенков, эвенов и негидальцев. Следует особо отметить, что в примеча-ниях к словарным статьям ССТМЯ термины *«даван»* и *«аланалакит»* отмечены как заимствования из тунгусо-маньчжурских, перешедшие, соответственно, в древнетюркский и письменно-монгольский языки. Термин *«кадар»*, судя по примечанию, скорее всего, через посредство солонского языка, вошел в эвенкийские говоры как заимствование из монгольских и тюркских языков. Лишь термин *«икэн»* имеет полисемантическое значение и, очевидно, формировался независимо от остальных языков «алтайской семьи».

2). Распространенный в монгольских и тюркских языках термин *«алас-аглан»*, обозначающий семантически однородные понятия *«местность с летними пастбищами, безлюдное место, степь, пустыня, поляна»*, имеет семантические соответствия (*поляна, прогалина в лесу*) в алданском, майском и чумиканском говорах, а также в форме *«авлан - аглан»*, отмечен в говорах баунтовских, баргузинских, наканновских, северобайкальских и сахалинских эвенков. Если происхождение термина *«авлан-аглан»* не поддается определению, то слово *«алас-аглан»* представлено в ССТМЯ как заимствование из якутского языка (ССТМЯ, 1975, с. 9, 29).

3). Термин *«тала»*, по Г.М. Василевич сохранившийся от «алтайского праязыка», кроме эвенкийского, представлен в языке монголов, бурят, якутов, киргизов и казахов и обозначает такие элементы ландшафта, как *«поле, степь, равнина, прогалина, открытое место»*. Бытование его в эвенкийском языке, во-первых, ограничено говорами эвенков Якутии и Приамурья, а также у негидальцев и, во-вторых, имеет иное семантическое значение – *«солонец, место засады на диких оленей, охотиться на оленей»* (ССТМЯ, 1977, с. 156).

4). Следующий термин *«арга-аркан»* распространен в монгольском, бурятском и якутском языках и соответствует понятиям *«спина, плечо, лопатка, адмии, назад, спинка шубы»*. В форме *«аркалан - шаманская накидка, нашивка-пластина на спине шамана»*, этот термин встречается в говорах «енисейских», забайкальских, якутских и сахалинских эвенков (ССТМЯ, 1975, с. 51).

5). Термин *«алтан» - «медь, золото»*, по Г.М. Василевич и по материалам Сравнительного словаря (Василевич, 1975, с. 5; ССТМЯ. 1975, с. 33), очевидно, является относительно поздним заимствованием, вошедшим в эвенкийские диалекты в результате распространения в их материальной культуре изделий из меди и золота бурятского или и якутского происхождения.

6). Наконец, последний из списка Г.М. Василевич термин *«тымир-тымиктэ, тэмилэн»*, соответствующий в монгольском и тюркских языках понятию *«артерия»*, в эвенкийских говорах имеет более широкий ряд производных от глагола *«тэми-»* значений и, кроме указанного, соответствует понятиям *«пульс, кровеносный сосуд; нащупывать, трогать; дорога, занесенная снегом, спотыкаться»* (ССТМЯ, 1977, с. 233-234).

Аналогичный характер соответствий в тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языках, выделенных Г.М. Василевич по общим элементам грамматики «восходящим к алтайской языковой общности», отмечен в следующем ряду терминов:

- ***«кургэ»*** - *«кузнечный мех»*; ***«саи-сива, шига, ша-, сай-, сиваки-шиваки (эвенк.)»*** - *«вбить, клин, стамеска, зубило»;*

- ***«матай-мата»*** - *«сгибаться, выпячиваться (монг., бур., як.)»*, в эвенкийском - *«согнуть, изогнуть доску для лыжи, гибкий (о дереве)»*, а также производное *«матавун»* - *«станок для изгибания лыжных досок и полозьев»*;

- ***«турах-тураки»*** - в монг., бур., якут. – *«грач, ворона (серая, обитающая возле жилья»*, в эвенкийском – *«раскрыть (рот, глаза), натянуть (нитку на пальцы), ворона (серая)»*. Следует отметить, что для эвенкийского языка понятию *«ворона»*, кроме *«тураки»*, соответствует более широко распростараненный термин ***«оли»***, обозначающий таежный подвид, имеющий черный окрас пера и обитающий вдали от человеческого жилья. Кроме того, по данным ССТМЯ, термин *«тураки»* считается для бурятского и якутского языков поздним заимствованием из эвенкийского языка (ССТМЯ, 1975, с. 435, 533; 1977, с. 13, 75, 218).

К тому же общему слою «алтайского праязыка» Г.М. Василевич относит лексемы «мороз, замерзать, вершина, верхний конец, точильный брусок, точить, хлеб, мука, голый, босой». Вместе с тем, обращение к словарным статьям ССТМЯ и словаря Б.В. Болдырева показывают, что с некоторыми сомнениями к фонду «алтайского праязыка» могут быть отнесены лишь такие термины как *«донгото – мороз», «дугэ – вершина», «ирэгэ - брусок, напильник»* (ССТМЯ, 1975, с. 216, 218, 328). Наряду с ними, в большей части эвенкийских языков бытует ряд семантически однокоренных синонимов: соответственно - *«нэндэлэ»; «мудан, муданна, оё»; «хивэдэнки, хивэнки, хивэвун»* (Болдырев, 1994, с. 30, 38, 446).

Отмеченному Г.М. Василевич термину *«дугэ»* соответствует семантически близкий набор слов, произведенных от *«див-дигу – нагорный»*. Наш интерес к этим терминам обусловлен двумя причинами. Во-первых, образованные от *«дигу»* понятия *«дигун, дигури, дили»*,

обозначающие *«склон, верхняя часть горы, дальше от костра, от печки, ближе к стене»* (ССТМЯ, 1975, с. 202), имеют семантические однородные понятия в самодийских языках. Во-вторых, большинство поздних заимствований в эвенкийском языке из других языков, как правило, имеют ограниченное распространение и фиксируются не более чем «в одном-двух, реже трех… диалектах и говорах» (Новикова, 1972, с. 105). В данном случае, указанные слова бытуют во всех тунгусо-маньчжурских языках и даже в корейском, а корневая лексема *«див»* имеет большое число производных, семантически связанных с описаниями горно-таежных ландшафтов. На наш взгляд, это означает, что указанная лексема и производные от нее, вероятнее всего, имеют достаточно древнее происхождение и вряд ли могут считаться поздними заимствованиями из других языков.

В записи Г.М. Василевич, семантически близкие *«див»* термины бытуют в лексике эвенков Нижней и Подкаменной Тунгусок: *«дыски - вверх по склону»* в значении *«дальше от очага»; «ӈэски – вниз по склону, бли-же к очагу»*; *«нэӈиткэл – спрыгнуть вниз, нагнувшись, заглянуть в чум»; «икэ – спустись по склону к реке, выйди из жилища»; «эвурокал - яма».* В интерпретации Г.М. Василевич, эти термины сохраняются в эвенкийском языке как память о древнем «жилище предков эвенков», которое было «естественным углублением на береговых склонах». В этой связи, Ю.Б. Симченко и Г.М. Василевич (Василевич, 1969, с. 113; Симченко, 1976, с. 161-164) высказывают предположение, что указанные описательные наименования жилого пространства отражают древнейший слой тунгусо-маньчжурской лексики и, по всей вероятности, восходят не к «алтайской», а к еще более древней «урало-алтайской» языковой общности.

Изложенные соображения с очевидностью указывают на то, что проблема восстановления исходной формы эвенкийского языка не решается отысканием в нем лексических и идиоматических схождений с тюркскими и монгольскими языками. Наиболее правдоподоб-

ным представляется нам предположение, что корневая основа современных тунгусо-маньчжурских языков проецируется в гораздо более обширную лингвокультурную палеообщность. Можно предположить, что фиксируемые в антропологическом материале постоянные и весьма продолжительные контакты групп «прототунгусов», «протобурят», «протоякутов» и восточных самодийцев сопровождались обычным для первобытности (Арутюнов, 1989, с. 114-119, 179, 184) взаимным обменом отдельными элементами культуры и формированием общего фонда связанной с нею корневой лексики.

Можно предполагать, что дифференциация первичной «урало-алтайской» основы, формирование дошедших до современности языков тунгусо-маньчжурской группы и формирование трех эвенкийских наречий происходило в относительно недавнем прошлом. На вероятность таковой версии эволюции алтайских и тунгусо-маньчжурских языков указывала, в частности, Г.М. Василевич. В ряде публикаций ею подчеркивается, что различия в лексике западного («шипящего») и восточного («свистящего») диалектов эвенкийского языка являются свидетельствами существования сложившихся в первые века н.э. двух племенных союзов тунгусов, которые развивались в условиях относительной территориальной и социально-экономической изоляции, культурного и лексического взаимодействия с иноязычными соседями. По мнению Г.М. Василевич, контакты и, очевидно, брачные связи предков тунгусов с юкагирами и монголоязычным населением Приамурья, определили в прошлом формирование смешанного сибилянтно-спирантного («секающе-хакающего») диалекта эвенков Среднего Амура (Василевич, 1972, с. 160-170).

Следует заметить, что вопрос о времени дифференциации корневой основы эвенкийского языка и о последующем формировании трех эвенкийских наречий как самой Г.М. Василевич, так и другими исследователями тунгусо-маньчжурских языков рассматривается

лишь на уровне предположений. Традиционно считается, что формирование «западной» и «восточной» диалектных групп/племенных общностей происходило в условиях расселения «предков» тунгусов на север и северо-восток от Прибайкалья и имело место не позднее рубежа нашей эры. Как полагает Г.М. Василевич, «свистящий» диалект эвенков-орочонов складывался в процессе активного взаимодействия с «южными земледельческими и скотоводческими племенами», а именно, с «киданями и предками дауров». Свидетельства этих контактов, по данным Г.М. Василевич, дошли до нас в именах легендарных героев сказаний восточных эвенков и в топонимике Забайкалья – Приамурья (Василевич, 1966, с. 178-185, 260, 268, 339, 343, 345, 352-353; она же, 1949 б, с. 159-160).

По Г.М. Василевич, к первым векам н.э. предки западных эвенков освоили весь бассейн р. Енисея. Следы пребывания этой группы в бассейне Енисея, по мнению Г.М. Василевич и других авторов, читаются в его первоначальном тунгусоязычном нименовании *Йендрэги*, в гидрониме *Катанӈа*, обозначающем верховья всех трех Тунгусок (Нижней, Подкаменной и Ангары). Отличительные признаки диалекта западной (средне-сибирской) группы «праэвенков», по определению Г.М. Василевич, оформлялись в ходе их взаимодействия с племенами праюкагиров и пракетов, которые в фольклоре западных эвенков фигурируют под названиями *«хуладол» и «чури»*. Освоение эвенками бассейна Енисея и замещение исходного южного («шипящего») диалекта северным («хакающим»), свойственный современным группам эвенков Нижней и Подкаменной Тунгусок, по мнению Г.М. Василевич, завершилось задолго до того, как в бассейне Оби и по левобережью Енисея начали расселяться первые группы «саянских самоедов» (Василевич, 1949 б, с. 157-158).

Как уже отмечалось, отдельные различия в лексиконе восточных и западных эвенков вместе с различиями в материальной и духовной культуре, включаются Н.В. Ермоловой в систему доказа-

тельств изначально конвергентного происхождения забайкальско-приамурских орочонов. К этому же предположению, по результатам лексико-статистического анализа говоров подкаменно-тунгусских эвенков, склонялась и В.А. Горцевская (1954, с. 52-54). По В.А. Туголукову те же различия рассматриваются как результат поздних по времени заимствований из языков других этнических общностей Западной и Восточной Сибири (Туголуков, 1980, с. 156). К этому же склоняется и О.П. Суник, которая все же полагает, что, несмотря на отдельные различия, оба территориальных подразделения эвенков образуют единую лингвокультурную общность, имеющую общее происхождение и сохранившую до настоящего времени общие элементы лексики, морфологии и фонетики, восходящие к общему архаическому «праязыку» (Суник, 1982, с. 241).

Очевидно, что проблема «общее/гетерогенное» происхождение языков западных и восточных эвенков рассмотренными выше данными не решается. Во всяком случае, нам представляется возможным предполагать, что уже в древности языки тунгусо-маньчжуров Сибири и Дальнего Востока хотя и образовывали общее лингвокультурное пространство, но, одновременно, развивались конвергентно в условиях территориальной и этнокультурной изоляции их носителей.

Обоснования нашим предположениям обнаруживаются в одной из работ В.И. Цинциус. Так, анализируя место северных и южных диалектов эвенков в общей структуре тунгусо-маньчжурских языков и частоту бытования трех архаичных согласных – анлаутных (стоящих в начале слова) *«п, к,»* и ауслаутного (стоящего в конце) *«н»* В.И. Цинциус пришла к выводу, что последовательное изменение в использовании архаичной фонемы *«п»* завершается формированием в тунгусо-маньчжурских языках четырех компактных языковых ареалов:

- «обширный сибирский эвенкийско-эвенский» ареал, характе-

ризующийся рефлексией (отражением) *«п → h»* или же полным выпадением фонемы *«п»* охватывает нерчинский, северо-байкальский, сахалинский и чумиканский диалекты эвенкийского, а также арманский и быстринский диалекты эвенского и солонского языков;

- «приморско-уссурийский» ареал с рефлексией *«п→ h→ х»* охватывает языки удэгейцев, орочей и негидальцев;

- «амурский» ареал распространения архаичной фонемы «п», охватывающий языки нанайцев, ульчей и ороков;

- наконец, изолированный маньчжурский ареал, представленный глухим губным аллофоном *«ф»*. Реконструируя далее общеалтайскую «прафонему *п*», В.И. Цинциус отмечает ее полное исчезновение в отдельных говорах эвенков, в языке эвенов и солонов, а также в языках современных монголов, бурят и калмыков, во всех тюрских (в том числе в якутском) языках (Цинциус, !978, с. 62-63).

Определенный интерес для реконструкции фонетики «алтайского праязыка», по мнению В.И. Цинциус, представляет группа консонантно-анлаутных изоглосс *«к, х»*, которая в большей части тунгусо-маньчжурских языков (кроме нанайского, ульчского и орокского) характеризуется полным исчезновением этих фонем. Проанализировав более сотни примеров рефлексии *«к → х → 0* (полное выпадение звука)», В.И. Цинциус приходит к заключению, что «приамурский нанайско-ульчско-орокский ареал, характеризующийся преобразованием анлаутного *«к → х»*, выступает как центральный», общий для тунгусо-маньчжурских и остальных алтайских языков. Для примера указывается: эвенк., эвен. *«уми – погрузить, опустить в воду, окунуть»*; нег., ороч. *«уму – засыпать, похоронить»*; нан., ульч., орок. *«х- уму – засыпать, похоронить»*; тюрк., древ. тюрк., башкир., татар., монг. – соотвественно *«к"ому – засыпать похоронить», «kцт,kцм –kям – зарывать, погребать»*; монг. *«kцмя - хранить запасы»*; монг. *«х-эмрэг – закрома»* (Цинциус, 1978, с. 63-64).

Те же закономерности обнаружены В.И. Цинциус и в отноше-

нии ауслаутного *«н»*, что аргументируется неизменным присутствием данной фонемы в большинстве *диалектов* и говоров тунгусо-маньчжуров, за исключением нанайского, удэгейского, ульчского, орокского и большей части монгольских языков, в которых она либо частично элиминирована, либо отсутствует полностью. Для примера, В.И. Цинциус обращается к двум лексемам, соответствующим русским понятиям «шаман» и «конь, лошадь»:

- эвенк., негид. – *«саман»*, эвен. - *«hаман»*, нанайск., в разных говорах – *«самв»* // как в уд., ороч., орок., ульч. – *«сама(н)»*;

- эвенк. – *«мурин»*; эвен. – *«муран»*; маньчж. – *«морин»*, негид. – *«мойин»*; в отличие от этого, в нанай., ульч., орок. – *«мори(н)»*, уд. – *«мойи(н)»*, бур. – *«мори(н)»*, соврем. монг. – *«морь»*.

Таким образом, заключает В.И. Цинциус, потеря конечного «н» в структуре тунгусо-маньчжурских языков характерна лишь для центрального (нанайско-ульчско-орокского) ареала, но при соотнесении с монгольскими языками явление утраты носит скорее «маргинальный характер» (Цинциус, 1978, с. 65).

Нам представляется, что общие итоги рассуждений В.И. Цинциус состоят в разделении «алтайской семьи» языков на три ареальные группы.

1 - «западная» маргинальная, включает большую часть диалектов и говоров эвенков и эвенов и образует особое, в целом гомогенное подразделение тунгусо-маньчжурской лингвистической общности;

2 - нанайский, ульчский и орокский языки, вместе с письменным монгольским, бурятским, калмыкским и некоторыми тюркскими языками, образуют «центральный» (дальневосточный) ареал, который характеризуется наибольшей сохранностью древней «общеалтайской» фонетики;

3 - «юго-восточная» группа: северобайкальский, нерчинский, чуми-канский и сахалинский диалекты эвенков, арманский и бы-

стринский диалекты камчатских эвенов, монголизированный язык солонов, а также современные монгольский, бурятский и якутский языки.

По всей вероятности, эта группа занимает в структуре алтайских языков маргинальное положение и является своего рода связующим звеном между «западным» и «дальневосточным» ареалами. Для примера, обратимся к тем различиям в названиях охотничьих ножей – *«кото»* (орочоны и все восточные диалекты) и *«пурта»* (западные диалекты), которые рассматриваются Н.В. Ермоловой в качестве доказательств конвергентного происхождения «восточных» эвенков-орочонов. В действительности, четкое разграничение ареалов бытования того или другого термина нами не обнаружено.

Так, в материалах Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков термин *«кото – охотничий нож»* присутствует:

а) в лексике восточных эвенков (алданский, зейский, нерчинский, са-халинский, тунгирский, урмийский, учурский, чумиканский диалекты), а также в солонском, эвенском, негидальском и нанайском языках;

б) в переходных, по отношению к «западному» и «восточному» ареалах, диалектах дудинских, баргузинских, верхнеленских и качугских эвенков. В обоих вариантах это название сопровождается отметкой о вероятном заимствовании из монгольского (*«kituga, hutaga, hutuga»* (ССТМЯ, 1975, с. 418).

Второе название *«пурта»* фиксируется, по преимуществу, в относительно немногочисленной группе диалектов «западных» («енисейских») эвенков, а именно – в подкаменно-тунгусском, дудинском, сымском, непском, илимпейском и ербогоченском. Как и первый термин, он сопровожден указанием на возможное заимствование из языков удмуртов и коми (ССТМЯ, 1977, с. 44).

Вне всякого сомнения, оба названия имеют разное происхожде-

ние и вошли в эвенкийский язык вместе с заимствованными из гетерогенных культур железными ножами. Вместе с тем, стройность предпринятого Н.В. Ермоловой разделения лексического фонда эвенков на два гетерогенных ареала нарушается хотя бы тем, что термин *«кото»* неожиданно (для автора концепции «локальных различий») отмечен в языке «западных» дудинских эвенков. В свою очередь, термин *«пурта»*, кроме диалектов эвенкийских групп, населяющих переходную зону горной тайги южного побережья оз. Байкал, встречается в том же «западном» дудинском диалекте.

Все эти «неожиданности», очевидно, объясняются довольно просто. Поскольку «байкальская» группа эвенков, судя по этнографическим данным, на протяжении «письменной истории» этноса активно взаимодействовала как с западными, так и с восточными (забайкальско-витимскими) родовыми общинами, а формирование дудинской группы происходило не без участия якутского этнокультурного компонента (Туголуков, 1985), постольку в лексике этой «пограничной контактной группы» присутствуют слова и термины обоих арелов.

Те же несоответствия четкому ареальному разграничению обнаружены нами в отношении термина *«кото»*. Судя по материалам Сравнительного словаря, он обозначает более широкий кластер орудий из металла и практически в равной мере встречается как в «западном», так и в «восточном» ареалах.

Так, в говорах «енисейской» группы эвенков он обозначает такие орудия, как «рогатина, пальма (тесак на древке для обрубания сучьев, мелких деревьев и охоты на медведя)», в дудинском говоре ему соответствует явно русское по происхождению слово «коса», а в сахалинском диалекте – «шашка» (ССТМЯ, 1975, с. 418). По нашим сведениям, этот же термин в переводе «пальма – орудие для обрубания сучьев» фиксируется в ербогочонском говоре северного диалекта «енисейских» эвенков.

Разнообразие наименований ножа и близкого ему класса орудий «рубяще-режуще-колющего» типа перечисленным не исчерпывается. Так в диалектах восточных эвенков, в языке эвенов и солонов присутствует несколько дериватов слова *«уткэн»*, обозначающих «тесак - пальму, нож, кинжал и саблю» (Василевич, 1969, с. 64; ССТМЯ, 1977, с. 294). В эвенкийско–русском словаре, составленном С.М. Широкогоровым по языковым материалам забайкальско-приамурских эвенков, помещены следующие названия ножа: *«куче, кучигэ, хутга, китуга»* (A Tungus dictionary…, 1944, p. 75).

Точной привязки терминов к конкретным диалектам в опубликованной рукописи С.М. Широкогорова мы не обнаружили. В несколько измененной транскрипции варианты этих же терминов отмечены нами в Сравнительном словаре: «***куче(н)*** – *нож*: ульч. *«куче(н) - нож*; *кучэлэ – колоть ножом; кучечи-/у – резать ножом»*; орок. *«кути-кутигэ, кучи-гэ~кучэ(н) – нож; кучелу – с ножом; кучедэ – колоть ножом»*; нан. *«куче, куце(н), кутсэн – нож*; маньчж. *куш'и – нож; куш'илэ – резать ножом»* (ССТМЯ, 1975, с. 441).

Нельзя также обойти вниманием тот факт, что бытующий в эвенкийской лексике и употребляющийся в общении с русскоговорящим населением (в том числе с русифицированными эвенками) заимствованный русский синоним «кото» - «пальма» имеет ту же весьма неоднозначную этимологию. Так, в интерпретации М. Фасмера *«пальма-палемка»* имеет отношение к немецкому *«palme»*, происходящему от латинского *«palma - ладонь»*. По мнению В. Даля и М. Фасмера, термин *«пальма»*, скорее всего, появляется в эвенкийской лексике вместе с самим изделием, которое в XVI-XVII вв. было широко распространено среди русских промысловиков Сибири и являлось обычным предметом в товарообмене с «инородцами» (Даль, 1994, с. 13; Фасмер, 1987, с. 194).

По другой версии, этимология русского термина связывается с хантыйским *«pal ~ palem (1 л. ед. числа) – «копье, рогатина, кин-*

жал». Автор этой этимологии – А.Е. Аникин полагает, что русское слово *«пальма»* может находиться в семантической связи с *«пальма – большая зажженная лучина; пучок, связка зажженных лучин, щепка»*, польск. *«oszczep – копье»… и/или «нож для щепания лучины»…* рус. диал. *«лучник - пучок зажженных лучин»* и чеш. диал. *«loucnik - нож для щепания лучины»* (Аникин, 1997, с. 458). Кроме того, А.Е. Аникин полагает, что прямое происхождение эвенкийского *«пурта»* от лексемы из языка коми, как и «сравнение… с чувашским *пуртв»* невозможно. «Скорее всего, эвенкийские *пурта… purta*, (Миддендорф, 1843 г.), *pohrta* (Мессершмидт, 1723 г.)» являются заимствованиями из холмогорского диалекта русского языка в первой четверти XVII в. (там же, с. 480).

Представленное разнообразие локальных вариантов названий ножей и различие их этимологии, на наш взгляд, с очевидностью указывают на то, что обращение к ним Н.В. Ермоловой как к доказательству изначально конвергентного происхождения языка западных и восточных эвенков, мягко говоря, не корректно. Во-первых, обозначенный названиями *пурта* и *кото* комплекс металлических орудий мог появиться в инвентаре эвенков-тунгусов никак не ранее XIV-XVII вв. и является поздним заимствованием из культур русского старожилого населения (скорее всего, из культуры «поморов») и знакомых с металлургией средневековых кочевников-скотоводов (предков якутов, монголоязычных киданей).

В целом, рассмотренное убеждает нас в том, что наличие схождений в системе алтайских языков и современное языковое разнообразие локально-территориальных групп эвенков может объясняться иначе, в том числе, с позиций гипотетического «урало-алтайского праязыка» или «лингвокультурной общности» (по Нерознак, 2000, с. 57-59), охватывающей все разнящиеся происхождением и культурой языки коренного населения Сибири и Дальнего Востока. На возможность такого решения вопроса, в частности, указывают ре-

зультаты исследований В.А. Аврорина. Так, анализируя существование в тунгусо-маньчжурских языках двух классов имен существительных – «лица и вещи», он отмечает, что они присутствуют «во всех так называемых «алтайских» языках…, а также… в чукотско-камчатских и эскимосских… финских и самодийских». Особенности бытования имен существительных «лица и вещи» отмечены в солонском, нанайском, тюркских, монгольских и некоторых финно-угорских языках, в которых, «роль личного местоимения третьего лица, ввиду его отсутствия, выполняет указательное местоимение» (Аврорин, 1980, с. 6-7).

Примеры подобных сходств и различий в лексике, морфологии и фонетике, отражающие общие – генетические и специфические, опосредованные внешними (иноязычными) влияниями корни эвенкийского языка отмечает большая часть отечественных лингвистов (см., к примеру: Болдырев, 1981; Новикова, 1972; она же, 1980; Цидендамбаев, 1981). В ряде случаев исследователи указывают, что лексические материалы эвенкийского языка свойственны только ему и отсутствуют в других языках алтайской семьи (Константинова, 1972; Колесникова, 1972 а, 1972 б; Лебедева, 1981; Муратов, 1972; Рассадин, 1981; Черемисина, 1985).

Следует еще раз напомнить, что существующие методы определения масштабов сходств и различий в языках алтайской семьи весьма несовершенны и дают лишь приблизительное представление о степени их родства, времени их дифференциации и оформления в языки-изоляты. Так, по расчетам А.М. Певнова сибилянтный и спирантный диалекты эвенков бассейна р. Енисей максимально удалены от южной ветви тунгусусо-маньчжуров (народы нижнего течения р. Амур и Сахалина), а также от языков тюрок и монголов. Как полагает А.М. Певнов, за 1,5 тыс. лет, истекшие с момента разделения северных и южных ветвей тунгусов, диалекты «западных эвенков» сохранили не более 10-15% общеалтайской лексики (Пев-

нов, 1984, с. 31-34).

Изолированное положение эвенкийского языка в структуре алтайской семьи обусловлено не только крайне небольшим присутствием в нем лексики «алтайского праязыка», но и резкими отличиями в его синтаксисе, морфологии и фонетике, что признается такими сторонниками реальности «алтайского праязыка», как О.П. Суник и С.А. Старостин (Старостин, 1991, с. 23; Суник, 1982, с. 240). Еще более категоричны в выводах те исследователи, для которых «алтайский праязык» представляется не иначе, как искусственной научно-исследовательской «конструкцией». Так, по мнению Л.Л. Викторовой, отмеченные еще исследованиями XIX в. «различия в базисной лексике числительных… опровергали гипотезу праязыка». Архаичный слой эвенкийской лексики, включающей понятия «о человеке, частях его тела, явлениях природы, окружающем мире» определяет как «внутригрупповую устойчивость» тунгусо-маньчжурских языков, так и «столь же разительное» отличие её от лексики тюрок и монголов (Викторова, 1983, с. 119, 121).

Ссылаясь на результаты исследований Дж. Клоссона, Л.Л. Викторова полагает, что начало конвергентного развития генетических основ тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков может опускаться на глубину 70 тыс. лет! Кроме того, исторически наиболее достоверной формой существования протоалтайских языков было состояние, названное С.П. Толстовым «лингвистической непрерывностью», для которой характерно «дробление (языковой – М.Т.) общности на множество самостоятельных, изолированных до размеров племенной общности, языков-диалектов» (Викторова, указ. соч., с. 119-120).

Определенные сомнения в реальности «алтайских» корней тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языков отмечены нами в работах Б.А. Серебренникова. Так, подсчет схождений в алтайских языках показывает, что тюрксая и монгольская груп-

пы содержат около 50% общих форм в морфологии и 25% в лексике. Для сравнения, количество сходств между языками тунгусо-маньчжуров и языками двух других языковых групп существенно меньше и составляет 10% в лексике и 5% в морфологии. Конвергентное, в значительной степени изолированное формирование тунгусо-маньчжурских языков, по мнению Б.А. Серебренникова, определяется также тем, что наиболее устойчивая к изменениям (следовательно – максимально сохраняющая исходную форму) группа числительных первого десятка в разных языка алтайской семьи не имеет каких либо совпадений и не может возводиться от «единой праформы». Кроме того, характеризуя языковую структуру коренных народов Северной Азии, Б.А. Серебренников полагает, что «в глубокой древности» они объединялись в «непрерывную цепь родов и племен с близкими родственными наречиями», сопоставимую с «урало-алтайским» лингвокультурным сообществом (Серебренников, 1982, с. 7).

На возможность того, что формирование языков «алтайской семьи» уже в древности происходило в условиях их изолированного развития, очевидно, указывают результаты исследований В.А. Никонова, сопоставляющих семантику древнейшего слоя терминов из области космогонических представлений народов Евразии.

Так, название созвездия «Млечный путь» образует три семантических ареала. Один из них включает «названия с идеей *путь птиц*», которые «свойственны финно-угорским и тюркским народам». Как считает В.А. Никонов, несмотря на такие локально-групповые отличия, как *«путь диких гусей, вороний путь»* и т.д., сама идея «космического следа» птиц «неоспоримо указывает, что очень дальние предки финно-угров и тюрок находились в теснейшем контакте или имели единый источник». Второй ареал соотносится с идиомой «небесный шов (трещина)» и, по мнению В.А. Никонова объединяет тувинцев, якутов, бурят, калмыков и монголов. Следующий семан-

тический ареал, в варианте «лыжный след», объединяет хантов и эвенков (Никонов, 1974, с. 287-288).

Хронологически неопределимые и весьма немногочисленные связи в терминах родства, представленные в лексических фондах народов уральской и алтайской языковых семей и очерчивающих круг кровных родственников индивида, отмечены Н.В. Лукиной (1997, с. 180-184). Пространные языковые связи тунгусов с представителями алтайской семьи и палеоазиатами отмечены Г.М. Василевич. По её данным, связи устанавливаются по трем именным группам. Первая – имена с формообразующими суффиксами *«-нга, (-лга, га), най, ни»* отмечена в материалах X-XI вв. у киданей, в XVII-XVIII вв. во всех диалектах эвенков и эвенов, у юкагиров, кетов, селькупов и забайкальских бурят, у якутов, чжурчженей и монголов.

Вторая и третья именные группы представлены антропонимами и этнонимами, которые образованы при помощи суффиксов *«-н(ча), -(н)ча(н), -вул (-ул,- мал, -мул)»; «-ки, -ку, -ка, -мку»* и имеют столь же обширное распространение. Поскольку же привлекаемые антропонимические данные извлечены Г.М. Василевич из письменных источников, в том числе китайских исторических хроник, то их бытование в алтайских и палеоазиатских языках можно датировать в широком хронологическом диапазоне X-XVIII веков н.э. (Василевич, 1974, с. 296-302). Аналогичные сходства, фиксирующиеся в уральских и алтайских языках, отмечены также Б.А. Серебренниковым в гидронимах Сибири и смежных районов европейского Севера России (1981, с. 162-167).

Гипотеза формирования «алтайских языков» в структуре более обширной, транссибирской «лингвистической непрерывности», на наш взгляд, подтверждаются результатами исследований В.А. Никонова и Е.А. Хелимского. Так, сопоставляя «фонетические спектры» и «частотности каждой группы звуков» в языках коренного населения Северной Азии, В.А. Никонов полагает, что в сравнении с

русским языком они характеризуются большей частотой «согласных глубокого образования». На уровне внутригрупповых (этнических) различий, частотность этих фонем увеличивается в направлении с запада на восток - от 9-12% в тунгусских до 20 и более % в эскимосском языках (Никонов, 1980, с. 29), что, очевидно, указывает на достаточно раннюю дифференциацию входящих в «лингвистическую непрерывность» языков.

Простой подсчет сходств и различий показывает, что «сумма разниц между родственными языками, как правило, меньше, чем между ними и языком» из другой языковой семьи. В то же время В.А. Никонов считает, что сами по себе статистические совпадения в фонетике языков той или иной «семьи», еще не объясняют чем эти сходства обусловлены - генетическим родством или контактами обитающих в смежных регионах этнографических групп – носителей разных языков (указ. соч., с. 30-31). Так по частоте гласных (44%) эвенкийский язык сближается с языком тубалар, эвенов, негидальцев и эскимосов, а по частоте большей части согласных фонем примерно в равной степени удален от всех языков уральской и алтайской семей (там же, с. 32-33).

На определенно изолированное положение эвенкийского языка, на наш взгляд, указывают и результаты исследований М.И. Черемисиной. Так, выделяя в структуре сложного предложения «сибирский, эвенкийско-бурятский (выделено нами – М.Т), тип спрягаемых деепричастий», М.И. Черемисина полагает, что он «воспроизводит какую-то древнюю модель», которая в системе алтайских языков «полнее всего представлена в эвенкийском». В структуре «бурятского сложного предложения» - сообщает далее М.И. Черемисина, «мы находим много «эвенкийских» черт, резко отличающих бурятский от халха-монгольского». Очевидно, из этого следует), что бурятский язык не влиял на формирование эвенкийского языка, а сам находился под его влиянием. Та же модель соответствий наблюдается в ана-

лизе специфики тувинского и алтайского языков, которые на фоне других тюркских языков резко отклоняются в сторону «сибирского» (эвенкийско-бурятского – М.Т.) типа». Какое же «в этом плане место… среди других тунгусских языков» занимает эвенкийский, М.И. Черемисина не представляет, однако считает весьма реалистичным предположение, что «эвенкийский язык (вероятно, вместе с эвенским) может оказаться обособленным в своей семье» (Черемисина, 1985, с. 186).

Исследования Е.А. Хелимского показывают, что «по суммарному числу параллелей в самодийской лексике тунгусские языки уступают только финно-угорским». В совокупности с общими элементами лексики это свидетельствует о наличии «длительных взаимодействий вдоль самодийско-тунгусской этнической границы» и может указывать на более близкие, нежели с языками «алтайской семьи, связи эвенкийского языка с языками самодийцев» (Хелимский, 1985, с. 206).

Выводы Е.А. Хелимского опираются на лексикографическую и статистическую обработку 300 разновременных и относящихся к разным слоям лексики «лексических параллелей контактного происхождения». Наиболее многочисленные прасамодийско-пратунгусские соответствия включают около 70 слов. Из них более 20 самодийского и около 10 – тунгусского происхождения; не менее 40 тунгусских и эвенкийских заимствований в селькупском; более 35 заимствований в эвенкийском языке из отдельных самодийских; около 35 прасеверносамодийско-пратунгусских соответствий, в том числе около 15 слов «заведомо тунгусского происхождения». Признавая, что «вопрос о направлении заимствования еще требует дополнительного изучения», Е.А. Хелимский убежден, что вопреки мнению об относительно позднем характере самодийско-тунгусских связей интенсивные языковые контакты «пограничных» групп «были еще в эпоху, предшествующую распаду прасамодийского и пратунгус-

ского языков, т.е. до рубежа н.э.» (Хелимский, 1985, с. 206-207).

Особенное значение для нас имеет предположение Е.А. Хелимского о том, что территория исторической прародины тунгусов, кроме Прибайкалья, «могла охватывать и огромные сопредельные пространства Средней и Восточной Сибири». На это, по мнению Е.А. Халимского, указывают прасамодийские названия р. Енисей – ненец. Jen(a)-sajam; энец. Dedosi; нганасан. Jentajea; южно-селькуп. Nandesi, которые были заимствованны из тунгусского Jendesi (эвенк. Jenderi, Jendreri)». Еще более показательными в этом отношении являются для Е.А. Хелимского примеры нескольких тунгусских заимствований, вошедших в самодийские языки в качестве специфических обозначений циркумполярных природных объектов. Многочисленная группа «восточно-тунгусских (т.е. без эвенкийского)» заимствований в самодийских языках интерпретируется Е.А. Хелимским как свидетельство, что «древние селькупы Приобья и северные самодийцы Енисея», по всей вероятности, были «захвачены» волнами тунгусских мигрантов, расселяющихся из «Енисейско-Прибайкальского региона на Дальний Восток, и вовлечены в этногенез «восточных» тунгусов» Хелимский, 1985, с. 208-210).

Следует отметить, что взгляды Е.А. Хелимского опровергают бытующую до сих пор гипотезу «южного» происхождения предков самодийцев и тунгусов, локазизации их «исторической прародины» в подтаежных районах Присаянья, Забайкалья и Приморья, мигрируя из которых предки самодийцев и тунгусов осваивали полосу северной тайги и лесотундры. Ранее на этом в одной из статей настаивал Б.О. Долгих. Свою точку зрения Б.О. Долгих аргументировал тем, что «редконаселенные, плохо связанные между собой горные районы, также как и северные, вряд ли могли… стать важным фактором этногонического процесса…» и распространения языка и культуры самодийцев «до Ледовитого океана на севере и до оз. Косогол на востоке» (Долгих, 1970, с. 228-229).

Хорошо известно, что разновременные лигвистические и культурные связи тунгусов-эвенков с иноязычными соседями не ограничиваются группами якутов и бурят. Обширное поле языковых соответствий и заимствований охватывает языки автохтонов Северной, Центральной, Восточной и Юго-восточной Азии (языки айну, корейцев, японцев, тибетцев и т.д.) [Гоголев и другие, 1975, с. 10; Гурвич, Симченко, 1980, с. 141-151; Симченко, 1980, с. 11-27]. В свете всего изложенного бесперспективность метода языковых аналогий в этногенетических реконструкциях представляется очевидной. Нас же в данном случае занимает вопрос о том, являются ли данные сходства и различия в диалектах эвенкийского языка теми непреодолимыми «языковыми барьерами», которые позволяют рассматривать данную этнокультурную общность как некую социальную конструкцию, формировавшуюся из заведомо гетерогенных субстратов?

Более или менее ясный ответ на этот вопрос содержат публикации С.Е. Яхонтова и А.М. Певнова. Разработанная С.Е. Яхонтовым шкала межъязыковых и междиалектных различий устанавливает четыре группы соотношений общих и разных лексем, соответствующих четырем уровням понимания и освоения «чужого» языка/диалекта вступающими в общение индивидами (Яхонтов, 1971, 1980). Используя схему С.Е. Яхонтова, А.М. Певнов утверждает (1984), что различия в лексике и морфологии в диалектах «западных» и «восточных» эвенков соответствуют «первому уровню» и, в целом, не создают каких либо препятствий для установления нормальных языковых контактов. Судя по данным В.А. Туголукова, этому же уровню различий соответствуют языки контактирующих групп эвенков и эвенов (северо-запад Якутии), которые воспринимали эвенкийский язык как «свой» и считали себя и эвенков «одним народом» (Туголуков, 1970, с. 210; Туголуков, Тураев, 1997, с. 3-4). Указанное родство эвенкийских диалектов, как и в случае с эвенами, на наш взгляд, может быть объяснено лишь тем, что, несмотря на

территориальную и экономическую изоляцию, локальные группы (территориально соседские общины) эвенков поддерживали между собой достаточно постоянные социальные связи.

Различия в языках эвенков и нанайцев, по шкале С.Е. Яхонтова, соответствуют второму уровню понимания. По оценке А.М. Певнова, языковой барьер между этими языками достигает такой степени, когда носители «разных идиом не могут свободно общаться, но обнаруживают в языке собеседника знакомые слова и отдельные фразы. При этом в результате постоянного общения с иноговорящим соседом собеседник относительно легко, без посредства переводчика или учебника, усваивает «чужой» язык и обучается навыкам разговорной речи» (Певнов, 1984, с. 152).

В той же системе сопоставлений сравнение языков «западной» груп-пы эвенков с языками северо-восточных самодийцев и «восточной» с языками киданей и маньчжуров, очевидно, может соответствовать тому уровню межъязыковых барьеров, при котором язык собеседника воспринимается как «чужой, но похожий на свой». По схеме С.Е. Яхонтова это соответствует четвертой степени родства языков: «Общение невозможно, но при систематическом изучении» обнаруживается «множество общих слов (почти во всех основных понятиях) и правил грамматики…» (Яхонтов, 1980, с. 152). В этом контексте, вполне логичным представляется предположение А.М. Певнова, что дивергенция «родственных языков» уральской и алтайской семей есть следствие этнической изоляции их носителей и «конвергентного развития», впрочем, не исключающего того, что «расходящиеся языки продолжают оказывать влияние друг на друга» (Певнов, 1984, с. 33).

Из изложенного, на наш взгляд, с очевидностью следует, что самостоятельное положение эвенкийского языка в структуре алтайских и уральских языков, как и значительное число различий в лексике «западных» и «восточных» эвенков означают, что глоттогенез

тунгусов может анализироваться:

- в контексте нескольких последовательных этапов дифференциации архаической «урало-алтайской лингвистической непрерывности»;

- в контексте социокультурного взаимодействия тунгусов-эвенков с контактными группами иноязычного населения Сибири и Дальнего Востока.

Первый этап, соответствующий конвергентному развитию отделившихся от «материнской» основы уральских и алтайских языков, очевидно, характеризуется присутствием в языках общих «корневых» лексем и близкородственных форм в синтаксисе, фонетике и морфологии. Второй этап, очевидно, может сопоставляться с периодом конвергентного развития постепенно удаляющихся друг от друга языков «алтайской семьи». С этим этапом, очевидно, связано формирование семантически однородовых понятий и терминов, обозначающих части человеческого тела, названия сакральных животных, космические объекты. Скорее всего, к этому же этапу относится начало дифференциации протоэвенкийского языка на группы «западных» - сибилянтных и «восточных - спирантных диалектов.

С третьим, но явно не последним, этапом формирования эвенкийского языка, очевидно, связано формирование смешанного «сибилятно-спирантного» диалекта восточных эвенков. К этому периоду, очевидно, относится поляризация этнокультурных связей западных и восточных диалектных групп, вхождение в лексику тунгусов–эвенков того слоя лексики, который содержит относительно поздние заимствования из производственной и бытовой сфер культуры северовосточных самодийцев, монголоязычных и тюркоязычных скотоводческих племен Забайкалья-Приамурья, северной Монголии и Маньчжурии. К этому слою иноязычных заимствований, по всей вероятности, можно отнести названия некоторых орудий охоты и рыболовства, оленеводческие термины, локальные

варианты названий и типов жилых и хозяйственных построек, имена основных действующих лиц героических сказаний и преданий и т.п.

В целом же, данные лингвистики позволяют с определенностью говорить о том, что процессы глоттогенеза и формирования физического типа эвенков-тунгусов обнаруживают некие, на наш взгляд, общие закономерности:

- во-первых, и физический тип, и язык, в архаических основаниях, восходят к более обширной, нежели локально-территориальные общности Прибайкалья или Забайкалья - Приамурья, макропопуляции «североазиатских монголоидов»; очевидно, она сопоставима с «урало-алтайской» лингвокультурной общностью, основными признаками которой является сетевидный характер генетических и языковых связей, протянувшихся от древности до настоящего времени;
- во-вторых, в свете лингвистических данных отмеченное в начале раздела замечание Ю.Г. Рычкова о совмещении узловых моментов дифференциации генетических оснований физического типа и языка тунгусов представляется нам не только логичным, но и фактически доказанным;
- наконец, генетические начала (праформы) физического типа и языка тунгусов-эвенков следует искать в эпохе позднего неолита – раннего железа.

2.5. Голоценовые антропогеоценозы и современный хозяйственно-культурный тип эвенков

Исходя из рассмотренных выше результатов анализа антропологических и лингвистических данных, логично предполагать, что современный тип хозяйства, материальной и духовной культуры эвенков имеет автохтонное происхождение и формировался на основе тех культур, которые оставили после себя древние обитатели Восточной Сибири и Дальнего Востока. На этом настаивали все те ученые–сибиреведы (в первую очередь археологи и антропологи), которые в 1930-1980-х годах наиболее активно занимались конструированием восходящих линий преемственности между культурами локальных популяций – носителей комплекса «байкальских» антропологических признаков и современным тунгусоязычным населением Северной Азии.

Первые «убедительные» (по словам М.Г. Левина) доказательства этому, как известно, были представлены в публикациях А.П. Окладникова (1950 а, 1950 б, 1955, 1956, 1973). «Историко-археологические» реконструкции этого автора, разработанные им схемы поэтапной эволюции неолитических культур до настоящего времени определяют направление поисков архаического начала культуры тунгусов и опыты восстановления «этнического лица» археологических культур Якутии, Забайкалья и Приамурья.

Определенные основания к этому, безусловно, присутствуют. Очевидное морфологическое подобие археологическому инвентарю обнаруживают коллекции каменных, костяных и железных орудий, приобретенных у енисейских эвенков в начале XX в. (Народы Севера Сибири в коллекциях…, 1986). Из этнографических источников известно, что современные эвенки и их предки XVIII-XIX вв. собирали в береговых обнажениях археологический материал, достаточно уверенно определяли их функциональное назначение.

Еще более ощутимые сходства объединяют «воздушный тип» захоронений и отдельные элементы погребального обряда эвенков и «мохэсцев». Впрочем, «воздушные захоронения», т.е. способ помещения покойного в ветвях деревьев, в дупле, на поднятом на опорах помосте, кроме тунгусов-эвенков, широко представлены в культурах коренного населения Сибири (Воробьев, 1983, с. 47; Грачева, 1972, 1983; Гурвич, 1978, рис. 7; Деревянко Е. 1975, с. 3-4, 144-145; Рис. 16). Следует также отметить, что «воздушный тип захоронений» и свойственные ему обрядовые действия, очевидно, является универсальным явлением, известным далеко за пределами Северной Азии в стадиально близких культурах. Так, например, он встречен нами в описаниях погребальной обрядности аборигенов Австралии (Берндт Р., Берндт К., 1981, с. 368-369, 371-373, 385).

Примеры аналогий в культурах охотников–рыболовов и охотников-оленеводов Северной Азии хорошо известны и отмечены не только в сфере хозяйства, в материальной, но и в той сакрализованной сфере духовной культуры, которая, в частности, включает типологический однородный комплекс космогонических представлений, «обрядов жизненного цикла», соответствующий «воздушному типу» захоронений комплекс «обрядов перехода человека в мир умерших предков» и представлений о реинкарнации (Алексеев, 1992, с. 59-75; Анисимов, 1951, 1958, с. 57-59, 65-66; Головнев, 1995; Новик, 1994; Львова и другие, 1988; Туголуков, 1969, с. 179-180).

Следует также указать на специфические, бытующие по преимуществу в среде таежных охотников-оленеводов Северной Азии, сходства в представлениях о членении «вселенной» на три сферы - «верхний мир», обиталище верховных божеств и «душ неродившихся людей», «средний мир» - среда жизнедеятельности обычных людей и «нижний мир», населенный душами умерших предков. Во всех мифологических сюжетах коренных народов Сибири «нижний мир» неизменно ассоциируется с «темными силами», враждебно на-

строенными в отношении «настоящих людей» - «духами болезней», «чертями». Столь же близко родственными, очевидно, являются циклы представлений и обрядовых действий, связанных с «проводами гостя – духа» добытого на берлоге медведя (Алексеенко, 1960; Василевич, 1971; Васильев, 1948; Титов, 1923, Туров, 2002).

Следует также обратить внимание на предположения лингвистов, что 70% типично охотничье-собирательской лексики тунгусов-эвенков, формировалось в позднемезолитических – ранненеолитических хозяйственно-культурных комплексах «таежных охотников» Северной Азии – носителей признаков «урало-алтайской» лингвокультурной общности.

Вместе с тем неоднократно отмечено (Широкогоров, 1923, с. 40; Козлов, 1979, с. 10), что лексические параллели в сопоставляемых древних и современных языковых системах еще не являются неопровержимыми доказательствами общего происхождения их носителей. Многочисленные примеры указывают на то, что заимствования в языке и культуре часто не являются результатом **смены населения той или иной территории** (например, замещением автохтонов группой мигрантов) и нередко являются следствиями диффузии культуры или «культурного обмена» по В.П. Алексеву (1989, с. 146), в том числе без прямых контактов соседствующих общностей.

Указанные и другие подобия в культурах тунгусов и древнего населения южных регионов Сибири и Дальнего Востока логично встраивались в традиционные для 40-50-х гг. прошлого века историко-археологические и палеоэтнографические реконструкции. Актуальность этого направления в археологических исследованиях была задана докладом А.П. Окладникова на всесоюзной конференции по проблемам этногенеза коренных народов Сибири и Дальнего Востока. В нем, в частности, указывалось, что уже в глубокой древности в обширном пространстве между Уралом и Тихим Океаном

сложилось несколько «больших культурных областей или провинций, каждая из которых… имеет определенные материальные связи с финноуграми, тунгусами, палеоазиатами, наконец, даже с тюрками и монголами» (Окладников, 1973, с. 5-6, 11).

Исходя из обширных археологических, этнографических и иных источников, А.П. Окладников полагал, что задачи сибирской археологии должны быть подчинены необходимости «проследить последовательное развитие этих (ископаемых – М.Т.) культур, их эволюцию во времени» и в том, чтобы «исследователь попытался (заставить – М.Т.) «заговорить» свой вещественный материал на языке конкретных этнических общностей». В качестве примера успешного решения этих задач, А.П. Окладников отмечает монографическую публикацию Г.М. Василевич (Окладников, 1973, с. 7-8).

Скорее всего, выдвигая эти задачи перед «молодой» сибирской археологией, А.П. Окладников руководствовался теми идеями, которые впервые были провозглашены М.П. Овчинниковым и позднее реализованы в практике «народоведческих» исследований Сибири профессором Иркутского университета Б.Э. Петри (Базалийский, 1998, с. 10; Савельев, 1989, с. 53). Первые данные, вошедшие в ранние реконструкции древних этапов культурогенеза тунгусов, были введены в научный оборот Н.И. Витковским, производившим сборы археологического и палеоантропологического материала на месте разрушавшихся могильников Приангарья[11].

Определенное влияние на формирование взглядов А.П. Окладникова, очевидно, оказала деятельность представителей «старой школы» российской археологии, определявших «палеоэтнологическое направление» исследований, представленных двумя относительно самостоятельными течениями – «культурно-историческим» (В.А. Городцов) и «культурно-этнологическим» (Д.Н. Анучин, М.П.

[11] Ему же принадлежит первенство введения в археологический лексикон понятия «китойский этап неолита». (Витковский, 1889).

Овчинников, В.Ф. Волков, Б.Э. Петри и др.). Так, по Б.Э. Петри, конечной «целью всякого археологического исследования является выделение связанных между собой комплексов (культур)… и, наконец, отнесения их к доисторическому прошлому тех или иных народов» (Генинг, 1989, с. 225; Савельев, 1989, с. 10, 54).

Как известно, производимые А.П. Окладниковым реконструкции преемственных связей эвенкийской культуры с неолитом Прибайкалья и Забайкалья - Приамурья, кроме аналогий в инвентаре, основывались на антропологических данных, которые, по определению М.Г. Левина, создали подлинно научное основание для решения этногенетических проблем. Очевидно, исходя из этой оценки гносеологических возможностей палеоантропологических данных, А.П. Окладников полагал: «если в культуре современных тунгусских племен найдутся какие-либо общие черты с культурой древнего населения…, то при наличии их антропологической близости… факт прямого генетического родства» сопоставляемых общностей «…является этногеографической реальностью». Следовательно – «современные тунгусы… устойчиво сохранили» элементы «самобытной культуры своих предков, проживавших на той же территории несколько тысяч лет назад» (Окладников, 1950 а, с. 40).

В середине 1950-х гг., в связи с новыми археологическими открытиями в Забайкалье-Приамурье и, очевидно, под воздействием взглядов М.Г. Левина (1953, с. 69-75; он же, 1958), А.П. Окладников несколько изменяет свою первоначальную концепцию культурогенеза тунгусов и считает, что «древнюю родину прибайкальских эвенков следует искать не столько в Прибайкалье, сколько к востоку от него вплоть до верховьев Амура» (Окладников, 1955, с. 7-9). Вместе с тем, как и в ранних публикациях, его реконструкции архаических начал культуры тунгусов по-прежнему базируются на аналогиях между инвентарем неолитических погребений и отдельными элементами материальной культуры среднесибирских эвенков, что

с позиций современной обоснованной и разносторонней критики «метода аналогий» (подробнее: Першиц, 1983, с. 36-53; Шнирельман, 1983, с. 54-68) представляется занятием весьма непродуктивным.

Как известно, исследованиям по первобытной «доистории» современных народов Сибири придавался особый политический смысл. Одна из целей такого рода исследований состояла в противопоставлении «истинного» (марксистского) взгляда на происхождение коренных народов Сибири взглядам представителей «буржуазной культурно-исторической школы», которые «приложили немало труда» для обоснования «отсутствия какой либо генетической связи между… неолитическим и современным населением» и того, что развитие культуры сибирских автохтонов является прямым следствием воздействия на них со стороны «мигрантов» (Окладников, 1950 а, с. 36, 38).

Полемизируя в этой и во всех последующих работах со сторонниками «миграционной теории» происхождения тунгусов (прежде всего с С.М. Широкогоровым), А.П. Окладников обращается к выявленным сходствам в антропологических данных древнего и современного (эвенкийского) населения Прибайкалья и указывает, что археологические материалы неолитического времени позволяют выделить особую Байкальскую «хозяйственно-культурную область», охватывающую практически всю территорию расселения «среднесибирских» тунгусов (там же, с. 37).

Краткий журнальный вариант использования «новейших данных» археологии и этнографии, при помощи которых А.П. Окладников аргументирует наличие генетической связи культуры эвенков с неолитическими культурами Прибайкалья, был опубликован за несколько месяцев до выхода в свет 1 и 2 частей монографической серии «Неолит и бронзовый век Прибайкалья». Более обширные доказательства «неолитических корней» эвенкийской культуры содер-

жатся в третьей части этой монографической серии, включающей описания и интепретацию материалов «глазковского этапа» эволюции неолитических культур (Окладников, 1955). Новым в этом издании является признание необходимости перенесения «прародины тунгусов к востоку от Байкала, тогда как доказательства «родства» тунгусов и «глазковцев», по существу, повторяют материалы журнального варианта.

Так, в качестве одного из «самых надежных признаков этнической диагностики» А.П. Окладников обращается к аналогиям в одежде тунгусов и «глазковцев», костюм которых реконструируется по расположению перламутровых бусин и колец из нефрита, обнаруженных им в могильниках Приангарья, Верхней Лены и Селенги и интерпретированных в качестве украшений верхней части одежды (мехового нагрудника «тунгусского типа») и головного убора «шаманки». Реконструированный «нагрудник эвенкийского типа», по мнению А.П. Окладникова служит доказательством того, что «одежда энеолитических обитателей Прибайкалья имела… тот же покрой, что и национальная одежда современных эвенков», т.е. так называемый «тунгусский фрак распашного типа» (Окладников, 1950 а, с. 41).

В том же стиле, по расположению бусин и колец из нефрита на черепе, охватывающих «лоб и темя от виска до виска сплошной полосой», А.П. Окладников реконструирует головной убор погребенной женщины–шаманки в виде диадемы, которая ассоциируется с характерными украшениями «обычной меховой эвенкийской шапочки». Доказательства прямой связи сопровождающего материала глазковских погребений с культурой современных тунгусов - носителей байкальского комплекса антропологических признаков подкрепляются указаниями на то, что в женском погребении из Усть-Иды поверх «мехового нагрудника» были обнаружены «два резных антропоморфных изображения из мамонтовой кости». Такие же ми-

ниатюрные изображения были обнаружены А.П. Окладниковым в районе г. Братска «при детском костяке», что все вместе согласуется с сообщениями И.Г. Георги о том, что подобные изображения в виде «жестяного идола во образе человека, зверя или птицы» еще в конце XVIII в. носили на нагруднике или летом просто на груди все тунгусы Прибайкалья (Окладников, 1950 а, с. 42-44).

Следует заметить, что утверждение А.П. Окладникова, что указанные детали характерны именно для «шаманского костюма», на наш взгляд, излишне категорично. Во всяком случае, по данным Д.К. Зеленина подобные и зооморфные изображения из металла, дерева и, иногда, из кости являются характерными деталями шаманских костюмов и используются в качестве личных «оберегов» у большинства коренных народов Сибири и Дальнего Востока (Зеленин, 1936; рис. 18).

Безусловно, феноменальная память А.П. Окладникова и широта знаний в области археологии и этнографии позволяли легко отыскивать аналогии в материальной культуре древнего и современного эвенкийского населения и реконструировать на их основе всю тысячелетнюю историю становления и эволюции хозяйства, быта и социальной организации эвенков. В целом, это вполне соответствовало бытующим в то время задачам и методам «историко-археологических» исследований древнейшего прошлого современных народов Сибири, а теоретические опыты восстановления «доистории» по отдельным аналогиям и архаизмам в культуре современных первобытных общностей было рядовым явлением в отечественной и зарубежной историографии.

В соответствии с этими методологическими принципами и задачами противопоставления «буржуазным теориям миграционного происхождения» тунгусов, А.П. Окладников решительно заявляет следующее:

- «следует признать, что основные черты того этнографическо-

го комплекса, который характерен для тунгусских племен Прибайкалья и их антропологический тип уже почти полностью (здесь и далее выделено нами – М.Т.) были представлены в пределах этой территории в глазковское время, т.е. около трех – четырех тысяч лет назад»;

- более того, «эти тунгусские племена так или иначе являются прямыми потомками и наследниками культуры не только самих «глазковцев», но и их… предшественников – вплоть до позднего палеолита», являются первонасельниками этой страны на протяжении… тридцати тысяч лет» (Окладников, 1950 а, с. 44-45).

Как отмечалось выше, монографический вариант модели культурогенеза тунгусов характеризуется не только более широким (выходящим за пределы Северной Азии) привлечением этнографических аналогий, но и коррекцией изложенных в журнальной статье взглядов на местоположение «исторической прародины» тунгусоязычных народов в целом. Корректировка взглядов, безусловно, была инициирована появлением новых антропологических данных и «еще более поразительных» (подобных эвенкийским) аналогий в археологических культурах Забайкалья - Приамурья.

Основная масса уточнений помещена во введение к третьей части монографической серии «Неолит и бронзовый век Прибайкалья». Прежде всего, А.П. Окладников отмечает, что формирование «глазковской» культуры, в известной мере, могло происходить в условиях интенсивных контактов «пратунгусов» с инородными соседями: с одной стороны - расселенными во II-I тысячелетии до н.э. в Забайкалье и Южной Сибири более высоко развитыми племенами степных скотоводов, с другой – «многочисленными более отсталыми племенами северной тайги и тундры». Более того через посредство скотоводов Забайкалья, культурные контакты глазковцев «отчасти охватывали… более отдаленные страны, вплоть до Китая» и именно эти связи «не могли не влиять ускоряющим образом на

развитие культуры прибайкальских племен» (Окладников, 1955, с. 7-9).

Следующее уточнение касается оценки этнической карты Сибири и Дальнего Востока в неолите и раннем бронзовом веке. По мнению А.П. Окладникова, она формировалась в процессе «дифференциации исходного палеолитического населения», последующего расселения отколовшихся от «материнской основы» групп и освоения ими «пустынных ранее пространств». В ходе миграций и освоения новых территорий мигранты разделились «на ряд больших локальных групп с характерными для каждой… особыми культурами». Вместе с тем А.П. Окладников полагал, что в своих базовых характеристиках постепенно изолирующиеся друг от друга и остающиеся в границах «байкальской культурной провинции» группы «мигрантов» были представлены «родственными друг другу по культуре племенами охотников и рыболовов…носившими распашную одежду с передником… и, вероятно, говорившими на родственных» языках». Эти племена «могли быть скорее всего предками современных эвенков, эвенов или юкагиров», а их материальная культура «по керамике и каменным орудиям…» была во многом «чрезвычайно близка к культуре обитателей верховьев Амура и северной Маньчжурии, вплоть до Великой Китайской стены и Ордоса» (Окладников, 1955, с. 8).

Как отмечалось, находка «глазковского» черепа в Шилкинской пещере побудила А.П. Окладникова пересмотреть прежние взгляды на местоположение «исторической прародины» эвенков, расширить ее включением соседних Прибайкалью районов Забайкалья и верховий Амура. Вместе с тем, А.П. Окладников все же настаивает на том, что традиционный эвенкийский комплекс хозяйства и культуры сложился в «глазковском этапе неолита» на территории Прибайкалья, а близкий современному физический тип формировался под прямым воздействием проникавших из Забайкалья групп – носителей антро-

пологических признаков черепа из Шилкинской пещеры.

В целом, предложенная А.П. Окладниковым схема культурогенеза эвенков не только заслуживает внимание, но и, в отдельных элементах, подтверждается современными этногенетическими данными. В то же время предпринятая А.П. Окладниковым «палеоэтнологическая реконструкция» являет собой пример обычных для историографии исследований доклассовых обществ 1920-1950-х гг. ошибок, являвшихся следствием того, что терия и методология исследования этих проблем находились в ту пору в зачаточном состоянии. По определению В.А. Шнирельмана, широко распространенный в этот период метод интерпретации схождений в археологических и этнографических источниках, «получивший в науке название «иллюстративного», произвел на свет «интерпретационные штампы», наводнившие литературу массой иллюзорных объяснений» доистории первобытных народов (Шнирельман, 1983, с. 55). По словам А.И. Першица, основная погрешность этого метода состояла в том, что взятая за основу интерпретаций аналогия «далеко не тождественна сравнению, так как устанавливает не все, а лишь сходные признаки сопоставляемых объектов» (Першиц, 1983, с. 50).

Следует отметить, что первые критические выступления против абсолютизации значения аналогий в этнографических и археологических источниках и использования их в историко-археологических реконструкциях относятся к 1930-м годам (Равдоникас, 1930, с. 30). Очевидно, учитывая это в своих оценках результатов произведенной А.П. Окладниковым историко-археологической реконструкции архаической основы культуры тунгусов, М.Г. Левин не ограничивался констатацией ее положительных сторон. В частности, отмечая первостепенную роль антропологических данных в этногенетических реконструкциях, М.Г. Левин в то же время предупреждал, что выделяемые «антропологические типы – абсолютно безразличны

(выделено нами – М.Т.) для направления исторического процесса, непосредственно не связаны с формой и содержанием культуры» (Левин, 1950, с. 53).

С одной стороны, М.Г. Левин допускал, что археологические культуры прибайкальской, южноякутской и североякутской «хозяйственно-культурных провинций» обнаруживают «известное сходство, определяемое в значительной степени общим направлением хозяйства … связанным с относительно подвижным образом жизни». В тоже время, несмотря на убедительность представленных А.П. Окладниковым аргументов, «они, однако, не исчерпывают всей» сложности процесса этногенеза тунгусов (Левин, 1950, с. 56-57). Так, в следующей публикации, учитывающей последние данные по краниологии «китойцев», М.Г. Левин отмечает, что «неолитическое население Прибайкалья может в равной степени рассматриваться и как предки юкагиров». Тем самым «многие элементы культуры, характерные для северных тунгусов», могут восходить «к древнему юкагирскому («палеоазиатскому» - М.Т.) комплексу» (Левин, 1958, с. 57-58).

Столь же неубедительным представляется М.Г. Левину предположение А.П. Окладникова, что реконструированный им тип «одежды распашного типа с нагрудником» мог первоначально возникнуть у прибайкальских «глазковских» предков тунгусов и позднее был заимствован другими народами Сибири. Во-первых, отмечает М.Г. Левин, «распашная одежда… широко распространена среди таежных охотников Сибири…, весьма приспособлена» к неизбежным для кочевого способа хозяйственного освоения угодий «далеким пешим переходам и верховой езде» на оленях (там же, с. 28-29).

Меховой нагрудник, как характерная деталь этого типа верхней одежды, по замечанию М.Г. Левина, кроме эвенков в не столь отдаленно прошлом бытовал среди «юкагиров, селькупов, энцев, нганасан, долган и якутов», что может интерпретироваться как свидетель-

ство его изначально более широкого распространения. Поскольку же семантика нагрудников шаманских костюмов, символизирующая «грудь, грудную кость птицы», кроме нганасан, долган и северных якутов «(культура которых… формировалась при непосредственном воздействии со стороны эвенков) едина для всех генетически не связанных… культур», постольку она «является доказательством архаичного, исконно таежного и независимого от тунгусов происхождения этого элемента одежды» (Левин, 1958, с.188-189).

Критические замечания М.Г.Левина относятся и к выделенным А.П. Окладниковым «культурным провинциям неолита». В его понимании лишь прибайкальская и две якутских «провинции» могут рассматриваться как единый хозяйственно-культурный ареал и сопоставляться с современными (в том числе эвенкийской) культурами подвижных охотников среднетаежной зоны. Четвертая - амурская «провинция, также входящая в современный ареал расселения эвенков, по мнению М.Г. Левина, представляла в древности особую «хозяйственно-культурную провинцию», представленную культурами оседлых рыболовов бассейна Амура и морского побережья (там же, с. 192-193). Наконец, сопоставляя данные о лингвистической и антропологической неоднородности состава современных эвенков, М.Г. Левин уверенно заявляет, что неолитические культуры Прибайкалья более справедливо соотносить с «дотунгусским» (палеоюкагирским) населением, «которое лишь позднее было ассимилировано проникавшими с востока тунгусоязычными группами» (там же, с. 197-198).

Несмотря на предпринятую в довоенный период жесткую критику «иллюстративного метода», а также изложенные выше суждения М.Г. Левина, авторитет А.П. Окладникова был настолько высок, что его культурологические идеи и схема периодизации неолитических культур до середины 70-х гг. прошлого века имели весьма широкое распространение. В частности, в трудах ряда сибирских

археологов происхождение археологических культур Якутии, Забайкалья и Приморья либо напрямую, либо опосредованно связывалось с Прибайкальем и «тунгусоязычными» носителями «байкальской» комбинации антропологических признаков (Кириллов, 1988, с. 123-128; Кириллов и другие, 2000; Мазин, 1994).

Однако, постепенно реконструкции «древнего очага праформ» эвенкийской культуры под давлением новых палеоантропологических и археологических данных перемещались в южные районы Забайкалья и Приамурья. Новые «убедительные» свидетельства локазизации «исторической прародины» тунгусов в сотнях и тысячах километров к востоку от Байкала обнаруживались в археологических стоянках и могильниках, хронологически совместимых с эпохами бронзы – раннего железа и относящихся к культурам охотников- рыболовов (Асеев и другие, 1984; Гришин, 1983; Деревянко А., 1970, с. 195-209; он же, 1976; Ивашина, 1979).

Следует отметить, что традиция обращения к археологическим источникам «свидетельств тунгусоязычности» древних носителей культур Якутии берет свое начало в исследованиях XIX – начала XX века (Серошевский, 1993, с. 174-201; Ксенофонтов, 1992. Т. 1, с. 399-413). В какой-то степени это соответствует данным этнографии, по которым ХКТ современных северных якутов оленеводов формировался (хотя и в исторически обозримое время) в условиях непосредственного влияния (аккультурации) со стороны территориальных общих западных эвенков и эвенов (Гоголев, 1993; Гурвич, 1977; Константинов, 1978, с. 75, 80, 82).

«Пратунгусская» тема в «историко-археологических» реконструкций долгие годы была популярна среди археологов Якутии. Так, С.А. Федосеева в одной из ранних своих публикаций отмечала, что обнаруженные в неолитических местонахождениях Туой-Хая и Усть-Чона I черепа («катангский тип») и сопутствующий им археологический материал стоянок указывают на вероятность того, что

«территория Верхнего Вилюя, по крайней мере с неолитического времени, входила в ареал формирования… северных эвенкийских племен (Федосеева, 1964, с. 1, 24). Сопоставляя исаковско-серовские материалы погребений, синхронных памятников Верхнего Вилюя и Восточной Якутии, С.А. Федосеева считала возможным полагать:

- неолитическое население этих районов имеет метисное происхождение и формировалось в процессе смешения местного («протоюкагирского») населения с мигрирующими из Прибайкалья группами тунгусоязычных охотников;

- наивысшей интенсивности контакты обоих субстратов достигли в период «бронзы – раннего железного века», что соотносится с продвижением в бассейны Средней Лены и Вилюя «эвенкийского населения из более южных районов» и формированием «собственно эвенкийских» археологических культур (Федосеева, 1964, с. 25-26).

По нашим сведениям гипотеза «тунгусских корней» применительно к археологическим культурам раннего железного века Якутии постоянно присутствовала и в более поздних работах якутских археологов (Алексеев, 1996 а, 1996 б; Константинов, 1978, с. 75, 80, 82; Федосеева, 1970, 1974; Мочанов, 1980, с. 207-215). Следует лишь отметить, что ранние этапы формирования археологических культур Якутии соотносятся уже с «палеоазиатским населением» и входят в круг так называемых «циркумполярных культур» охотников на мигрирующего северного оленя, распространенных во всей приполярной зоне Сибири и, якобы, имеющей отношение к генезису культур Северной Америки. В свою очередь, «тунгусский компонент», по мнению указанных исследователей, фиксируется лишь в культурах южных районов Якутии не ранее второй половины I века до н.э., а его появление на этой территории объясняется миграцией «тунгусоязычных охотников-оленеводов» из районов среднего и нижнего течения р. Амур.

Среди многочисленных реконструкций преемственных связей

между археологическими культурами и современными тунгусами особое место занимает серия публикаций результатов исследований Э.В. Шавкунова (1959, 1976, с. 52-70, 1990, 1994, с. 22-24). Интерес к ним определяется, в частности, тем, что, опираясь на комплекс археологических, палеоантропологических, лингвистических и этнографических данных, автор размещает древний очаг формирования корневых основ тунгусской культуры в пограничных районах Приморья, Маньчжурии и Кореи.

Как полагает Э.В. Шавкунов, формирование тунгусоязычного населения этих территорий, в том числе дальневосточных эвенков, непосредственно связано с «пратунгусскими племенами», которые на рубеже нашей эры переселялись через верховья Амура из Забайкалья. По его данным, осевшие в Дунбэе и Приморье[12] «группы тунгусских… пеших охотников (выделено нами – М.Т.)», фиксируются в китайских хрониках под названием *«Илоу – Иру»*, а в типах жилища и конструкции одежды имеют многочисленные сходства в культурах современных «южных тунгусов» (Шавкунов, 1990, с. 31-35).

В какой-то мере взгляды Э.В.Шавкунова идентичны суждениям М.Г. Левина и В.П. Алексева. Так, вслед за ними он полагает, что «область распространения… памятников глазковской культуры в Прибайкалье слишком незначительна, чтобы считать носителей этой культуры предками огромной алтайской языковой общности». Ссылаясь на замечание М.Г. Левина, что «расселение древних тунгусов по Сибири началось с развитием у них оленеводства, которое возникло… под влиянием» скотоводческих племен Забайкалья, а продвижение оленных тунгусов синхронно появлению в Забайкалье памятников «культур карасукского типа», Э.В. Шавкунов приходит к неожиданным, на наш взгляд, выводам.

1. Территориальное совмещение ареалов распространения па-

---

[12] Топоним «Дунбэй – Северо-восток» обозначает северо-восточные районы Маньчжурии и примыкающие к ней территории Приморья (БСЭ,. 1974. Т. 15, –с. 346).

мятников «карасукского типа» с ареалами расселения «алтаеязычных» племен хунну, сянби и увань дает основание считать «носителей культур карасукского типа предками алтайских народов, в том числе и тунгусов» (выделено нами – М.Т.).

2. Последовательная эволюция карасукских культур завершилась переходом расселившихся в Забайкалье «тунгусоязычных племен карасукцев» от «производящих» к «присваивающим» формам хозяйства.

3. Многочисленные сходства в инвентаре, орнаментике, заимствование у скотоводческих групп хунну, сянби и увань навыков оленеводства рождают «мысль о бóльшем генетическом родстве тунгусских народов с… карасукской культурой, чем с глазковской» (Шавкунов, 1990, с. 172-173).

Сам процесс «деградации производящего хозяйства» и формирования у расселившихся в Забайкалье «прототунгусов – носителей культуры карасукоидного облика (термин Э.В. Шавкунова – М.Т.)» представлен в следующем виде.

1. «Авангардная часть карасукцев – назовем их пратунгусами, под все усиливающимся напором более южных кочевников вынуждена была продвинуться из Забайкалья в занимаемые глазковцами таежные районы Прибайкалья (здесь и далее выделено нами – М.Т.)».

2. Попавшим «в непривычную для них географическую среду, не отвечающую требованиям кочевого скотоводства, пратунгусам ничего не оставалось делать, как воспринять тот образ жизни, который до их прихода вели…, согласно М.Г. Левину, древние юкагиры». Юкагирские заимствования включали «не только охотничье-рыболовное снаряжение… и определенные навыки труда, но и связанные с ними типы жилых построек, покрой одежды, мировоззрение, т.е. все то, что… составляло материальную и духовную культуру юкагиров».

3. Более существенным следствием этого явилось то, что, «распространяясь по Восточной Сибири, пратунгусы… в конечном итоге приобрели характерные для палеоазиатов Сибири черты байкальского антропологического типа и в их лексику попало немало новых слов» (Шавкунов, 1990, с. 174).

Вне всяких сомнений, выделенные Э.В. Шавкуновым заимствования если не из «карасукской», то из какой-то другой скотоводческой культуры, действительно, имели место. Вместе с тем, не углубляясь в пространные комментарии по поводу происхождения «алтайских» народов от носителей культур карасукского типа, все же заметим, что предполагаемая Э.В. Шавкуновым «тунгусоязычность» расселявшихся в Забайкалье «карасукцев» противоречит рассмотренным выше результатам компаративистских исследований урало-алтайских языков. Более того, в ряде публикаций «карасукский этнокультурный компонент» фигурирует в связи с участием в генезисе антропологического состава и культуры современных кетов, чья антропологическая принадлежность к сибирским монголоидам и вероятность отношения к «алтайской семье» более чем сомнительны (Алексеев, 1989, с. 417; Алексеенко, 1967; Вайнштейн, 1953; Долгих, 1963; Дульзон, 1982, с. 63, 69, 79; Членова, 1975).

Проникновение «карасукских» элементов в культуру тунгусов, на наш взгляд, может объясняться вне связи с предлагаемой Э.В. Шавкуновым идеей генетической связи этногенеза тунгусоязычных народов с кочевыми скотоводческими племенами «карасукцев» Минусинской котловины. Столь же допустимо, как и недоказуемо, объяснение появления этих элементов с позиций так называемой «дифффузии культуры» или «немого товарообмена», не связанных с прямыми контактами (тем более ассимиляционными процессами) между автохтонным населением Забайкалья и мигрантами – носителями культур «карасукоидного типа» (выражение Э.В. Шавкунова). В качестве примера подобных контактов, не сопровождающихся

смешением контактирующих этнических субстратов, можно указать на исторические свидетельства товарообменных связей приангарских эвенков с мифическими «чулугды» - по всей вероятности, оседлыми группами знакомых с металлургическим производством обитателей лесостепных районов бассейна р. Енисей (Туголуков, 1985, с. 65-68).

Не меньший интерес вызывает произведенная Э.В. Шавкуновым интерпретация упоминаемых в китайских хрониках этнонимов, которые бытовали на территории Дунбэя и обнаруживают соответствия в тунгусо-маньчжурских языках (Шавкунов, 1976, с. 65-68). Внимание Э.В. Шавкунова обращено к трем этнонимам:

- *улоу ~ улохунь* (в переводе – *«черные силки, сети»*), которому, по мнению Э.В. Шавкунова, в эвенкийском языке соответствует *урка~орка – «силок, петля»* ;

- *доу(мо)лоу ~ дамолоу* в расшифровке Э.В. Шавкунова имеет аналогии в лексике монголов, тувинцев и нивхов, может сопоставляться названием расселенных «в бассейне Среднего и, отчасти, Нижнего Амура» близких по языку монголоязычным киданям группам *дауров*;

- *шивей ~ шибей ~ шибер ~ сивир* – названиям входящих в племенной союз *Киданей* групп охотников-оленеводов, которые, по Э.В. Шавкунову, по языку были близки эвенкам (там же, с. 57, 63-64, 67-68).

Вероятность языковых и, очевидно, этнокультурных связей восточных эвенков с «шивеями» частично подтверждается материалами героических сказаний, записанных в 1930-1940 годах среди учурских, урмийских, амгунских, чумиканских и сахалинских диалектных групп (Василевич, 1966) с. 178, 185, 197-201).

Память о *шивеях~сивирах*, по данным Г.М. Василевич опосредованно связана с сюжетами о трех *Сивир-землях* – средней, верхней и нижней. Из них средняя *сивир-земля* ассоциируется сказителями

эвенками с представлениями о горной тайге, населенной *эвенками-уранкаями*. Г.М. Василевич считает, что *эвенки – уранкаи* обитали к западу от притоков Шилки и Аргуни рр. Онон и Анюй, а по ясачным спискам XVII в. были отмечены «на монгольской стороне» в предгорьях Восточного Саяна.

По разным словарным источникам (например, ССТМЯ, 1977, с. 283), а также по сообщению Г. М. Василевич, термин *«уранкай ~ уранкан»* в уйгурском, якутском и письменно-монгольском языках в IV-VII веках употребляется как в виде названия местности, так и этнонима, обозначающего различные по языку этнографические группы, в том числе – монголизированных тунгусов.

В героических сказаниях дальневосточные эвенки–*уранкаи* фигурируют как бродячие охотники горной тайги, не имеющие скота и оленей, живущие в конических жилищах типа эвенкийского чума. *Уранкаи* поддерживают дружеские отношения с близкими им по языку соседями – охотниками, оленеводами и скотоводами, берут в жены девиц из племени *Кидань*, участвуют вместе с ними в столкновениях с мифическими *сэлэргунами* и *чулуро* - обитателями шаманского нижнего мира (*нижняя Сивир-земля*). Кроме хозяйства и традиционного конусообразного жилища *эвенки-уранкаи* отличались от своих тюркоязычных и монголоязычных соседей типом одежды - выкроенный из цельной шкуры короткий кафтан эвенкийского типа с меховым нагрудником и штанами-натазниками. Ссылаясь на данные Н.Я. Бичурина и Н.В. Кюнера, Г.М. Василевич также сообщает, что объединение *Шивеев* делилось на *южных, северных, бо-шивей, шень-мохын и больших шивеев*, при этом «язык *больших шивеев*, проживавших севернее всех остальных» был близок языку маньчжуров. Следы обитания этой группы в первой четверти XVIII в. были зафиксированы в топонимах верховий рек Амур и Онон (Василевич, 1966, с. 14, 338-340; 1969, с. 3-14).

Из последующих рассуждений Э.В. Шавкунова становится по-

нятным, что предпринятые им экскурсы в этимологию указанных и других «этнонимов» (*мекри, бекри, бекли, вакарай, илоу~иру*) имели конечной целью попытку обоснования предложенной им версии объяснения известной гипотезы, согласно которой эвенкийское оленеводство появляется в результате заимствования навыков ухода за животными от групп кочевых скотоводов (коневодов) степных районов Южной Сибири, Забайкалья и Приамурья. В интерпретации Э.В. Шавкунова таковыми являлись носители культур «карасукоидного типа», расселявшиеся к востоку от Енисея в I тыс. до н.э. (Шавкунов, 1990, с. 171).

К вопросу о происхождении эвенкийского и орочонского типов оленеводства мы еще вернемся. Здесь же следует заметить, что нам так и не удалось понять, что на самом деле – участие «карасукцев» в этногенезе тунгусов или изначальная принадлежность прототунусов к мигрирующим группам носителей «карасукоидных» культур подразумевает Э.В. Шавкунов и что проходит рефреном через все его публикации на эту тему. Во всяком случае, цитируемые сочинения В.Э. Шавкунова, на наш взгляд, демонстрируют наиболее яркий, на фоне прочих археолого-исторических реконструкций, пример активного использования пространных и мало убедительных аналогий и подобий в разнородных данных по древнему и современному населению Сибири и Дальнего Востока.

Активизировавшиеся в последние десятилетия XX в. обсуждения проблем соответствия археологических и этнографических данных как источников «культурологических» реконструкций показали, что археологические комплексы, как правило, являются своего рода «закрытыми банками данных», информативность которых в отношении социальной организации и культуры древнейших обществ является удручающе неполной.

Наиболее убедительные аргументы против преувеличения значения и абсолютизации аналогий в реконструкциях «линий преем-

ственности» между ископаемыми и современными культурами изложены в публикациях тех исследователей, работы которых связаны с изучением ближайших к этнографической современности периодов или относятся к категории «этноархеологии» и «палеоэтнографии». Сегодня практически ни у кого из археологов не вызывает сомнения, что полученная в ходе археологических раскопок информация в самой благоприятной ситуации (в том числе, в случаях исследования поздних археологических объектов) доходит до исследователя в «трансформированном, преображенном виде» и отражает «не более 15% живой культуры» (Шнирельман, 1983, с. 59-59, 63).

Не менее сложной для решения оказалась проблема определения понятия «археологическая культура», установления территориальных, временных и социально-экономических параметров «локальных археологических культур». В современном понимании «любой артефакт, любая археологическая культура строго индивидуальны, уникальны и неповторимы» и, соответственно, могут рассматриваться либо «как индивидуальное явление…, либо как частное выражение» территориально более обширного комплекса культур (Шнирельман, 1983, с. 56).

Обстоятельная критика археологических источников (Генинг, 1987; Григорьев, 1972, Захарук, 1975, с. 4-6; Клейн, 1979, 1999; Шнирельман, 1983) завершилась всеобщим разочарованием археологов в методе «аналогий» и в историко-археологических и палеоэтнографических реконструкциях. По образному выражению В.А. Шнирельмана, состояние умов в археологии второй половины XX в. сопоставимо «пожалуй, только с состоянием умов в физике начала XX в., вызванное знакомством с миром микрочастиц» (Шнирельман, указ. соч., с. 55). Во всяком случае, число публикуемых результатов «историко-археологических» реконструкций к началу 1980-х гг. существенно сократилось, а основная проблематика работ отечественных археологов ограничивалась исследованиями эволю-

ции и периодизации древних технологий, сравнительным анализом локальных археологических «культур» и выделением на этой основе синхронных «археологических культурных провинций».

Критика археологических источников, очевидно, в первую очередь затронула теорию и методологию формирующейся с начала 1990-х гг. отечественной этноархеологии. Комплексное изучение (в том числе с использование археологических приемов) перешедших в разряд «археологических источников» этнографических объектов, очевидно, имеет целью создание некоего «моста» между ископаемыми и «живыми культурами» и отражает признание того, что метод «прямых и косвенных аналогий…», как и «поиски этнографами следов традиционных культур в археологических материалах зашли как бы в тупик» (Бутанаев, 1998, с. 25; Могильников, 1998, с. 21-24; Томилов, 1997, 1999, с., 25; Интеграция археологических и этнографических исследований, 1995, 1996, 1997, 1998). Большинство исследователей, изучающих теоретические аспекты сопоставления этнографических и археологических данных или же внедряющих новые методы в практику исследований археологических и этнических культур, все более склоняются к тому, что соответствия между археологическими и этнографическими источниками достоверны лишь для уровня хозяйственно-культурных типов (Васильевский, 1998, с. 36-38; Клейн, 1998, с. 97-120; Савинов, 1998, с. 54-57).

Вместе с тем, сопоставления археологических и этнографических источников даже на этом уровне осложнены тем, что обнаруживаемые сходства в ископаемых и «живых», этнографически фиксируемых комплексах хозяйства и культуры могут (по определению) являться следствием конвергентного развития культур, территориально и генетически не связанных народов осваивающих экологически однообразные географические зоны и стоящих на близких уровнях социально-экономического развития (Кабо, 1979; Крюков, 1979; Маркарян, 1983; Сагалаев, 1991, с. 155; Сагалаев и другие, 1990, с.

209; Семенов, 1979).

Признавая возможность сопоставления этнографических ХКТ и «археологических культурных провинций», Л.С. Клейн вместе с тем полагает, что обнаруживаемые сходства могут являться следствием того, что «наличие единых законов… делает человеческое поведение объяснимым и предсказуемым… древнее и современное поведение – сравнимым, а аналогию – возможной» (Клейн, 1998, с. 100). Как полагает Л.С. Клейн, переход «живой культуры» в археологический комплекс, содержащий искаженную, урезанную информацию о некогда существовавшем культурном феномене, может разделяться на 14 этапов трансформации. В этом контексте он выделяет такие категории диахронных сходств, как:

- *«гомологии»,* обусловленные общей предковой формой и возникшие: а) в ходе [ее] сегментации или б) на основе контактов»;
- *«аналогии»*, в которых сближаются чуждые друг другу формы… а) «конвергентные», обусловленные действием универсальных законов, однотипностью среды, обстоятельств, или б) *«параллелями»*, обусловленных как действием универсумов, так и синстадиальностью», т.е. совместимостью уровней социально-экономического развития носителей сопоставляемых культурных феноменов[13].

Одним из обязательных условий сопоставления археологических и этнографических культур, по Л.С. Клейну, является процедура «предпочтительного выбора – наиболее подходящей аналогии», решающее значение в котором имеют «не связи…, а близость аналогий по форме и контексту обнаружения» Клейн (там же, с. 115).

Вместе с тем, используемые в палеоэтнографических реконструкциях «хозяйственно-культурный тип в этнографии и еще в большей мере археологическая культура в археологии» относятся

---

[13] Клейн Л.С. Глубина археологического факта и проблема реконверсии \www.ant/md/scholl/has/projects.htm, с. 113

пока к той категории понятий, «которыми часто оперируют… и которые в тоже время еще не получили четкого и достаточно общепринятого определения» Арутюнов, Хазанов, 1979, с. 140; Марков, 1979, с. 149). В этой связи, сопоставлению с современными ХКТ подлежат не сами по себе локальные археологические культуры, а «ряд типологически однородных комплексов», соответствующих понятию «археологического (культурного) ареала», в границах которого «можно выделить более ощутимые и реальные археологические (культурные) провинции» (Арутюнов, 1989, с. 42). Таким образом, археологическая культура «прямо коррелирует ХКТ именно там, где она является прямым или косвенным отражением… хозяйственно-производственной деятельности своих носителей…» (Арутюнов и другие, 1979, с. 143; Марков, 1979, с. 153).

Следует попутно заметить, что все известные нам опыты восстановления «древних оснований» современных этнографических культур, как правило, основываются на еще более усеченной информации:

- погребальных комплексов сопровождающего палеоантропологические материалы инвентаря;
- искусственно вычлененного (опять же по принципу наличия или отсутствия морфологических сходств) материала археологических местонахождений.

Как известно, археологам до сих пор не удалось отыскать те методы, которые могли бы надежно установить характер тех связей, которые визуально обнаруживаются в синхронных комплексах погребального инвентаря и территориально ближайших к погребениям археологических стоянках. Таким образом, возможность сопоставления стадиально близких ХКТ представляется нам сугубо теоретической, реализуемой в более или менее убедительных моделях - сопоставлениях производственной и жизнеобеспечивающей сфер культуры «доисторических» и «исторических» социумов. В этой

связи уместно заметить, что в теоретическом понимании наиболее доступная для «этно-археологических» импликаций культура есть «технологическая» часть «специфического вида человеческой жизнедеятельности…, состоящая из материально выраженных инструментов и техники их использования, благодаря которым осуществляется взаимодействие человеческих индивидов и коллективов с природной средой» (Маркарян, 1983, с. 11, 35, 49-50).

Кроме А.П. Окладникова первые опыты выделения «археологических культурных провинций» или «хозяйственно-культурных областей», принадлежат Б.Э. Петри и В.Н. Чернецову (см. рис. 8-11; Окладников, 1941, с. 7; 1950, 1956; Чернецов, 1973, с. 10-17; История Сибири, 1968, с. 95). При всех различиях в определении территориальных границ и числа выделяемых провинций, все они объединяются непременным соотнесением с современными этнокультурными и языковыми подразделениями автохтонного населения Сибири и Дальнего Востока.

Так, например, реконструируя ранние этапы этногенеза народов Сибири, А.П. Окладников утверждал, что в «конце III и начале II тыся-челетий до н.э., в лесной зоне и лесотундре Северной Азии» сформировалось «шесть больших хозяйственно-культурных (выделено нами - М.Т.) областей». Первая область, названная А.П. Окладниковым «Байкальской», включала «Прибайкалье, …узкую полосу вдоль озера Байкал на северо-востоке, всю долину Ангары – до Енисея и, вероятно, часть смежной территории, занятой бассейнами» рр. Нижняя и Подкаменная Тунгуски. Как считал А.П. Окладников, эта культурная провинция была населена носителями «байкальского антропологического типа» (следовательно – предками тунгусов). «Экономической основой жизни населения этой области в соответствии с естественно-географическими ее условиями была охота на таежных животных… с течением времени все более… дополняемая рыболовством и собирательством» (Окладников, 1950, с. 38-37, 51-

52).

В отличие от А.П. Окладникова, В.Н. Чернецов выделял три культурных провинции, которые связывал с определенными этно-культурными общностями. Соответствующие изменения вносились и в определение границ распространения этих общностей. Так, «урало-сибирская этно-культурная общность», сопоставлялась с «праугро-самоедской ветвью уральской» языковой семьи, которая в недавнем прошлом обитала «от Ботнического залива и Северной Норвегии на западе до Саян на востоке» (Чернецов, 1973, с. 12-13), включала бассейн Оби, Енисея (за исключением верховий его правых притоков – Ангары, Подкаменной и Нижней Тунгусок), а также лесотундру Притаймырья.

Еще более разветвленная схема членения неолитических культур Северной Азии представлена в монографическом издании Истории Сибири. Согласно подготовленной коллективом авторов карте, локальные археологические культуры объединяются в следующие «этнокультурные ареалы»:

- Байкальский – Ангарская и Ононская археологические культуры (АК);
- Дальневосточный – Среднеамурская, Нижнеамурская, Приморская, Сахалинская и Камчатская АК;
- Якутский – Среднеленская, Северо-восточная АК;
- Урало-Обский – Обская и Шигиринская АК.

В современной классификации все многообразие локальных вариантов ХКТ коренных малочисленных народов таежной зоны Сибири и Северной Америки отнесены к категории культур «подвижных охотников, собирателей, рыболовов», соответствующих «высшему типу присваивающего хозяйства» (Марков, 1979, 163). С этой точки зрения, отмеченные М.Г. Левиным различия между ХКТ «подвижных охотников» и «речных рыболовов», соответствующие комбинированному хозяйству, на наш взгляд, носят скорее классификационный характер и отражают исторически сложившиеся

варианты адаптации по существу стадиально близких социумов в локальных природных и социальных средах. По В.П. Алексееву - конкретных «антропогеоценозов – элементарных ячеек (крупных – М.Т.) хозяйственно-культурных типов» (Алексеев, 1993, с. 28-30; Вишаренко, 1994, - с. 92; Туров, 1998).

К этому следует отметить, что разные варианты антропогеоценозов широко представлены в материалах сибирской этнографии. Это разнообразие прослеживается как на межэтническом уровне, так на уровне диалектных и территориально-этнографических групп одного народа. Так, например, этнографическое описание северобайкальских эвенков свидетельствует о том, что потерявшие оленей семьи переходили к интенсивному рыболовству, которое на время становилось доминирующим видом хозяйственной деятельности. Спустя некоторое время, восстановив потери в поголовье транспортных оленей, те же группы вновь изменяли доминанту промыслово-хозяйственной деятельности и становились типичными «бродячими охотниками» (Орлов, 1857).

Комбинированный, легко адаптирующийся в меняющихся природных и социальных условиях хозяйственной деятельности, способ промыслового и оленеводческого освоения угодий, восстановлен нами для эвенков Средней Сибири (Туров, 1990), населяющих этот регион в конце XIX – первой четверти XX вв. Высокая эффективность такого хозяйства, позволявшая отдельным семьям обеспечивать себя большей частью жизненно необходимых ресурсов, обеспечивалась:

а) последовательной сменой сезонных доминант хозяйственной деятельности (зверовой и пушной охоты, собирательства и рыболовства) в течение одного «годового хозяйственного цикла,

б) четким разделением производственных функций (добывающей, перерабатывающей, бытовой деятельности) членов семьи по полу и возрасту.

Обращаясь к археологическим данным и результатам палеонтологических исследований, можно полагать, что «комбинированный» тип хозяйства, предусматривающий посезонное переключение доминанты хозяйственной деятельности на освоение разных жизнеобеспечивающих ресурсов, начал формироваться в раннем голоцене. Палеонтологические материалы археологических стоянок указывают на то, что уже в эту эпоху в пространстве Сибири и Дальнего Востока распространяются современные виды фауны, которые до настоящего времени являются основными объектами промысловой деятельности коренного населения (Васильев, 2000, с. 24-25; Клементьев, 2000, с. 68-70; Оводов и другие, 2000, с. 104-106). В инвентаре археологических стоянок эпохи мезолита, кроме орудий охоты и обработки охотничьей продукции, появляются костяные орудия рыболовства (цельнорезные крючки, гарпуны) и собирательства. Вместе с тем формирование современных «антропогеоценозов», характеризуемых большим разнообразием промысловой фауны и соответственным разнообразием локальных вариантов охотничье-рыболовческого хозяйства, по всей вероятности, следует относить не ранее чем к периодам неолита – ранней бронзы.

Так, в палеонтологическом материале археологических стоянок и погребений южных подтаежных и горнотаежных регионов Средней Сибири преобладают «кухонные остатки» лесного подвида северного оленя, косули и кабана. На отдельных стоянках встречаются остатки ихтиофауны. Кости лося и изюбря встречаются очень редко. Исходя из этого и характерного набора орудий, можно предполагать, что в указанных локальных «антропогеоценозах» в это время формируются локальные варианты комбинированного хозяйства, сочетающего массовые охоты на копытных с сезонным малопродуктивным рыболовством.

В бассейнах крупных рек (Ангара, Лена), в устьевых участках Селенги и в нижнем течении Амура формируются культуры «оседа-

лых рыболовов», сочетающих сезонную охоту на лося, изюбря с массовыми заготовками лососевых видов рыбы в сезоны нерестового хода. В прибрежной полосе озера Байкал и на побережье Охотского моря в этот же период формируются особые антропогеоценозы приморских охотников-рыболовов, хозяйство которых ориентировано на массовые заготовки копытных (изюбрь - побережье Байкала, тундровый северный олень – побережье Охотского моря), массовые заготовки сиговых и лососевых видов рыб в сезоны нерестового хода и достаточно интенсивный промысел морских млекопитающих.

Локальные различия в формах организации промыслового освоения разнообразных антропогеоценозов определяли различия в способах организации жилого и хозяйственного пространства, соответствовавшего подвижному («бродячему»), оседлому («сидячему») и сезонно оседлому образу жизни предков современных эвенков-тунгусов. Разнообразие бытового и производственного инвентаря, типов жилых и хозяйственных построек, очевидно, явилось результатом не только разных условий ведения хозяйства, но и этнокультурными контактами пратунгусов с иноязычными соседями.

Скорее всего, следует согласиться с Г.М. Василевич в том, что с периодом бронзы в культуре «пеших» среднетаежных охотников - пратунгусов появляются волокуша кельче[14], ручная охотничья нарта и собачья упряжка, которые в XVII-XVIII вв. были зафиксированы в группах ангарских и нижнетунгусских эвенков - «хундысал». К этому же периоду может быть отнесено появление среди сезонно оседлого тунгусоязычного населения побережья Охотского моря, Среднего и Нижнего Амура таких специализированных орудий, как

---

[14] По описаниям Г.М. Василевич и нашим материалам волокуша - «кельче» представлала собой широкую лыжу, к которой при помощи ремней крепилась добыча или транспортируемое снаряжение. Судя по лексическим данным (ССТМЯ. Т. 1. 1975. – С. 388), этот вид транспортного средства был в прошлом представлен в культуре эвенков Средней Сибири, а также негидальцев и нанайцев.

острога с отделяющимся наконечником, которые позднее были заимствованы контактировавшими с ними группами «восточных» эвенков.

Сложившиеся в древности технологии охоты на лесного и тундрового северного оленя (Rangifer tarandus), почти в неизменном состоянии сохранялись до недавнего времени лишь в полосе приполярной тайги и тундролесья. Судя по нашим наблюдениям и исследованиям биологов (Банников, 1965, с. 3-8; Банников, Теплов, 1964, с. 5-12; Верещагин, Русаков, 1979), лишь в XIX в. производственные коллективы охотников северной тайги перешли от охоты на северного оленя к массовым заготовкам ранее неизвестного в этих районах лося (Alces alces). Такая кардинальная смена доминирующих объектов заготовок мясной и технологической продукции, по всей видимости, была связана с постепенным смешением ареала этого вида к северу и продвижением его границы до 70^0 с.ш.

Последний этап хозяйственно-культурной дифференциации тунгусов-эвенков, очевидно, связан с формированием в хозяйстве «бродячих охотников» двух вариантов транспортного оленеводства, выделением локальной группы «скотных» или «конных тунгусов», с распространением разных вариантов названий конструктивно близких стационарных и переносных жилищ, наземных и свайных хозяйственных сооружений, а также иных заимствований из материальной культуры соседних этнических общностей.

Таким образом, можно предполагать, что современные различия в хозяйственно-культурных комплексах «западных» и «восточных» территориально-диалектных подразделений эвенков сложились относительно недавно и определялись: а) изначально разными природными условиями хозяйственной деятельности; б) ранними контактами тунгусоязычных предков западных и восточных эвенков с «палеоазиатским» населением Сибири и Дальнего Востока (предками юкагиров, чукчей, коряков, нивхов); в) современными

контактами «западных» эвенков с северо-восточными самодийцами и тюркоязычными группами Алтае-Саянского нагорья, с одной стороны, контактами «восточных» эвенков с монголоязычными и тюркоязычными земледельцами–скотоводами левобережных притоков Амура (рр. Аргунь, Уссури, Сунгари) и смежных районов Монголии, с другой.

Наиболее значимые различия, которые могут рассматриваться в качестве ведущих признаков разделения тунгусов-эвенков на две самостоятельные «этнические общности» - западную (эвенки Енисейско-Ленского междуречья) и восточную (орочоны Забайкалья – Приамурья), на наш взгляд, имели технологические приемы содержания и хозяйственного использования домашних оленей и обусловленные ими формы организации бытовой и производственной сфер культуры (рис. 12). В какой-то мере эти различия могли восприниматься их носителями в качестве «идентификаторов» принадлежности к особой «этнической общности» («Мы орочены»), противопоставляемой остальным, близким по языку и культуре эвенкам-тунгусам (Арутюнов, 1989, с. 7, 166).

Эта особенность индивидуального и группового позиционирования в системе «свои - чужие» еще в начале XX в. отмечена Н.Н. Козьминым: «Человек настолько привыкает видеть себя в повседневной хозяйственной обстановке, что по ней часто называет и себя, и своих соседей» (Козьмин, 1928, с. 1; см. также - Алексеев, 1982). В этой связи, вопрос об этно-социальных последствиях появления в культуре тунгусов оленеводства, заслуживает отдельного рассмотрения.

Проблема происхождения оленеводства тунгусов, как известно, до сих пор остается нерешенной. До настоящего времени не имеет удовлетворительного решения вопрос о первичном центре и времени приручения дикого северного оленя. Обсуждение этой проблемы длится почти столетие. В представлениях разных авторов появление

домашнего оленя датируется в широком диапазоне от эпохи мезолита до рубежа н.э., а первичный очаг его зарождения помещается либо в районах Крайнего Севера (Василевич, Левин, 1951, с. 63-67; Вдовин, 1973, с. 242; Симченко, 1976, с. 77), либо в горной тайге Южной Сибири (Василевич, 1969, с. 78-80; Кызласов, 1952, с. 39-41).

Очевидно, вслед за В.А. Шнирельманом (1980, с. 180-190) следует считать, что из многочисленных версий происхождения сибирского оленеводства наиболее аргументированной сегодня является гипотеза С.И. Вайнштейна (1970, с. 3-14; 1971, 1972), по которой наиболее ранние свидетельства хозяйственного использования оленя обнаружены в таежных предгорьях Западного Саяна, а происхождение эвенкийского оленеводства связывается с культурой ранних самодийцев. Следует, впрочем, заметить, что возможность самостоятельного приручения и хозяйственного использования оленя охотниками таежной зоны Сибири не исключена до настоящего времени и именно к этой точке зрения, десятью годами ранее, склонялся сам С.И. Вайнштейн (1960, с. 54, 60; Лукина, 1984, с. 10-17; Шнирельман, 1980, с. 181).

На вероятность того, что первые опыты приручения диких северных оленей и их использования в хозяйстве (к примеру, в качестве оленя-маньщика) могли производиться независимо от влияния тюркоязычных племен кочевых скотоводов Саяно-Алтая, могут указывать некоторые сюжеты эвенкийских мифов, а также фольклорные материалы юкагиров.

Так, в эвенкийских мифологических сказках о животных домашние олени появляются в результате брака сироты Хеладан с «медведем–оборотнем», образ которого, по всей вероятности, формировался на ранних этапах этногенетической истории тунгусов и отражал их связи с группами иноязычных охотников-оленеводов таежной зоны Восточной Сибири (Туров, 2000). По сюжету мифа,

супруг эвенкийки Хеладан - медведь *«Амака»* (иносказательное название *старик, дед*) завещает ей убить себя, снять шкуру и разбросать шерсть по земле, а кишки повесить на дерево. Из шерсти появляются олени, а кишки превращаются в недоуздки. «*Олени став* (появившись – М.Т.), *дикими зделались. Верхний хозяин Амака научил эвенков как приручить оленей. Он помочился, чтобы олени поели обмоченный мох. Некоторые… стали есть… люди их переловили. Верхний хозяин передал людям арканы, уздечки со словами: оленей не убивайте. Если будете бить, брошу[вас]в нижний мир… С тех пор люди охраняют оленей»* (Василевич, 1936, с. 42, 43; 1969, с. 79). Без претензий на далекие параллели все же заметим, что собранная в специальной колоде урина, по нашим наблюдениям, до сих пор используется «катангской» группой кочевых эвенков как средство удержания оленей возле стойбищ в сезоны поздней осени – начала зимы (фото 1).

Аналогичный сюжет, также связанный с образом «медведя – оборотня», встречен нами в юкагирской сказке о сироте *Нираха*, записанной А.Н. Лаптевым со слов сказителя Н.Т. Трифонова. Фольклорный герой Нираха, достигнув совершеннолетия, задумался: «Как же без оленей обойдусь. Хорошо бы найти оленей. Но ведь олень [домашний] и дикий олень – одно и то же. Потом пошел искать диких… Увидел двух важенок… только что отелились. Оленят взял… принес домой» (Юкагиры…, 1975, с. 212).

Следует подчеркнуть, что мы не утверждаем, а лишь рассуждаем по поводу вероятности такого варианта появления прирученных оленей в хозяйстве охотников среднетаежной и приполярной зон Восточной Сибири. По мнению биологов, процесс доместикации северного оленя в хозяйствах нгансан, тунгусов и других охотничье-оленеводческих народов Сибири остановился на стадии «приручения». По своей биологии, характеру пищевого поведения и иным характеристикам домашний и дикий олени друг от друга практиче-

ски не отличаются (Баскин, 1970; 1978, с. 160-190). В хозяйстве как западных, так и восточных эвенков домашний олень используется исключительно прежде всего как транспортное средство, обеспечивающее кочевой быт и производственную деятельность охотников, а вся технология оленеводства сводится, по существу, к окарауливанию стада и удержанию оленей возле стойбищ. Именно по этим причинам, эвенкийское оленеводство (в том числе в орочонском варианте) категорически не может относиться к «скотоводческому хозяйству».

На это, в частности, указывает и Г.М. Василевич, отмечая, что различия между «эвенкийским» и «орочонским» способами ухода и хозяйственного использования оленей весьма условны. Лишь у сравнительно небольшой группы эвенков-орочонов южных районов Якутии, очевидно, не без влияния их соседей-скотоводов появились навыки доения оленух и приготовления молочных пищевых продуктов (Василевич, 1969, с. 75-77). Следует также отметить, что в отдельной статье, написанной Г.М. Василевич в соавторстве с М.Г. Левиным, высказывалось предположение о том, что «эвенкийский» и «орочонский» типы оленеводства связаны происхождением с разными центрами доместикации оленей – соответственно с «Саянским» и «Забайкальско-Верхнеамурским» (Василевич, Левин, 1951, с. 63-67).

На наш взгляд, обе альтернативные точки зрения на происхождение оленеводства тунгусов имеют равное право на существование и дальнейшее, более углубленное изучение. Безотносительно к тому, формировалось ли оно под влиянием скотоводов Восточного Присаянья или Забайкалья-Приамурья, появление транспортного оленя в хозяйстве охотников имеет «революционное» значение и диагностирует один из этапов формирования комбинированного и эффективного хозяйственно-культурного комплекса «западных» и «восточных» эвенков.

Если культурные отличия того и другого настолько велики, что можно говорить о двух генетически разных «этнических общностях», то в первую очередь на это должны указывать не столько отдельные предметы материальной культуры, сколько разные технологии и способы организации охотничье-оленеводческого хозяйства. В этом смысле можно рассуждать по поводу того, что «западный» вариант ХКТ «подвижных охотников» формировался и развивался под влиянием технологий транспортного оленеводства самодийцев Восточного Саяна, а «восточный» - монголоязычных и тюркоязычных скотоводов Западного Забайкалья.

Нетрудно заметить, что предлагаемая нами схема становления современного хозяйственно-культурного комплекса эвенков-тунгусов в чем-то тождественна взглядам Г.М. Василевич. В частности, как и Г.М. Василевич, мы считаем, что архаическая основа данной культуры закладывалась в эпохи неолита - ранней бронзы, а ее последовательная эволюция и формирование локальных различий происходили не без воздействия со стороны «иноязычных» соседей.

Кроме того, можно предполагать, что древнее основание современной культуры эвенков сопоставимо с технологически близкими «культурными провинциями», выделенными А.П. Окладниковым, В.Н. Чернецовым и М.Г. Левиным на археологических материалах неолита-ранней бронзы, т.е. с локальными вариантами древних ХКТ, адаптированных к условиям локальных «антропогеоценозов» Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем, мы отчетливо осознаем, что наша реконструкция архаических основ культуры современных тунгусов должна рассматриваться не иначе как очередная модель, весьма приближено и неполно отражающая действительность. Основанием для подобной оценки являются весьма неполные, «скелетные» этнографические знания о ХКТ локальных этнографических групп тунгусов-эвенков, с одной стороны, и прак-

тически полное отсутствие убедительных археологических реконструкций ХКТ сопоставляемых с ними групп, населяющих пространства Сибири и Дальнего Востока в эпоху неолита – ранней бронзы, с другой.

Очевидно, с той же вероятностью можно полагать, что современное разнообразие локальных ХКТ тунгусов-эвенков в равной степени обусловлено как разными способами адаптации тунгусов к раннеголоценовым антропогеоценозам, так и контактами «пратунгусов» и современных территориальных общин эвенков с самодийцами, группами монголоязычного и тюркоязычного населения.

Глава 3. Этнографические данные о финале этногенеза и началах этнической истории эвенков

Если исходить только из рассмотренных выше признаков, указывающих на общее происхождение основных этноинтегрирующих характеристик эвенков, то можно утверждать, что этногенез «эвенкийской народности» завершился к началу XX в., а известное постановление ЦИК РСФСР 1930 г. официально подтвердило этот факт и официально закрепило бытующее у разных групп общее самоназвание. Вместе с тем, есть вполне определенные основания считать, что реальный уровень этнической консолидации территориально, социально и экономически обособленных групп эвенков не соответствовал официальной декларации (см. к этому - Березницкий С.В., 2004, - с. 39), а все этнографы, изучающие культурные традиции «эвенкийского народа», явно опасались «обнаружить нежелательные корни национального древа или, наоборот, не обнаружить желательные» (Абрамян, 2004, с. 10).

После продолжавшегося почти столетие теоретического осмысления содержания понятия «этнос» и острых дискуссий по поводу феномена этничности, современные отечественные этнологи в той или иной степени признают, что любая этническая общность является конструкцией - «этносоциальным организмом» или специфической формой социального объединения близких или даже родственных по происхождению, языку и культуре групп (Бромлей, 1971, 1981 а, 1981 б; Козлов, 1974; Тишков, 1992, 2003 а, 2003 б; Чистов, 1972).

Для разных стадиальных типов этнических общностей характерны свои особые комбинации дефиниций этничности и внутренних консолидирующих информационных связей, а также тех внутренних и внешних стимулов, которые являются наиболее значимыми предпосылками консолидации близкородственных групп в

самовоспроизводящую себя в поколениях «этническую общность». Так, для «первичных» типов этнических общностей – «соплеменностей», таковыми являются общность языка, территории, основных типообразующих элементов хозяйства и культуры, более или менее четко выраженная эндогамия входящих в «соплеменность» групп и устойчивых представлений о происхождении от общих (чаще всего мифологических) «прародителей».

Вместе с тем, этнографические источники показывают, что фиксируемые среди охотников-собирателей «соплеменности» характеризуются феноменом так называемой «этнической текучести». Как отмечает С.А. Арутюнов, «фундаментальное единство основ культуры», объединяющее населявшие обширные территории племена и союзы племен, было достаточно аморфным. Диагностирующие признаки подобных территориальных объединений локальных этнографических групп «были менее дискретны, менее четко отгорожены друг от друга» не только в области этнического самосознания, но и в «области языка, культуры, социальных и кровно - родственных связей». Частный пример «текучести» этнических границ и характеристик, по мнению С.А. Арутюнова, представляют собой многие коренные этносы Сибири, которые «находились посуществу в постоянном процессе перекомпоновки, перехода отдельных групп и целых родов из одного этноса в другой» Арутюнов, 1989, с. 43-44).

К середине XX в. большинство отечественных этнологов считало, что единственно надежным и достаточно устойчивым показателем наличия консолидированной этнической общности является выраженное в специфическом этнониме этническое самосознание. По всей видимости, по этой причине большинство этнографов-тунгусоведов негласно считали, что этногенез эвенков, т.е. формирование «социалистической народности», к началу 1930-х гг. еще не завершился, а большая часть подготовленных ими публикаций по эт-

нографии эвенков включала в название двойной этноним «эвенки–тунгусы». Очевидно, из этих же соображений в своей монографии Г.М. Василевич не решилась дать четкий ответ на вопрос какое из многочисленных названий эвенков является этнонимом и получила по этому поводу жесткое и, наверное, не вполне объективное критическое замечание рецензентов.

К сожалению, ясности в этом вопросе не прибавляет и специальная публикация на эту тему одного из рецензентов Г.М. Василевич – В.А. Туголукова (1970). Еще в середине XX в. эвенкийская «народность» представляла собой сообщество дисперсно расселенных на огромном пространстве локальных этнографических групп (рис. 13). Отмечая «известную множественность этнических (выделено нами – М.Т.) названий… сравнительно небольших этнографических групп», В.А. Туголуков указывал, что официально закрепленное за эвенками и эвенами старое «собирательное название» *тунгусы* ими не признается и, тем самым, не может считаться их общим этнонимом (тамже, с. 204). Вместе с тем, разбирая вопросы происхождения этих названий, В.А. Туголуков в заглавии статьи определяет их как «главнейшие этнонимы», что вносит еще большую путаницу в вопрос о том, что представляет собой то сообщество территориально и экономически обособленных групп, которое с 1930 года фигурирует по общим названием «эвенки».

Этимология наименований локальных групп эвенков-тунгусов - тема отдельного исследования. Следует лишь заметить, что среди фиксируемого Г.М. Василевич и В.А. Туголуковым многообразия так называемых «самоназваний» лишь три, на наш взгляд, в той или иной мере могут соответствовать понятию «этноним», отражать индивидуальный или групповой способ этнической самоидентификации, определения принадлежности к той или иной этнической общности или этнографической группе.

Очевидно, наиболее архаичным из них следует считать этноним

«Илэл – люди» (мн. число от ***илэ*** – *«настоящий человек»*). Этноним ***Илэл***, зафиксированный Г.М. Василевич среди эвенков Катангского района Иркутской области, верховий Подкаменной Тунгуски и верхнего течения р. Лены, по нашим данным, до настоящего времени бытует в той же среде и, скорее всего, имеет древние «общеалтайские» корни (Василевич, 1969, с. 12-13; Крюков, 1974, с. 11; ССТМЯ, 1975, с. 311).

Второе самоназвание ***Эвенки***, по данным Г.М. Василевич, было распространено среди большинства диалектно-этнографических групп Прибайкалья (бассейн Ангары, Верхней Лены, северо-восточное побережье оз. Байкал), а также среди некоторых соседских общин «восточных» тунгусов. По мнению В.А. Туголукова, данное самоназвание происходит от средневекового этнонима *Увань*, которым в китайских хрониках VII в. обозначалось оленеводческое население, «жившее в нескольких стах километрах к северо-востоку от озера Байкал» (Туголуков, 1970, с. 209).

Не оспаривая приведенных В.А. Туголуковым доказательств о связи этнонимов *«Эвенки ← Увань»*, все же отметим вероятность его происхождения от лексемы *«эвунки - поперек»* (ССТМЯ, 1877, с. 435). Этот вариант этимологии этнонима, отчасти, признается В.А. Туголуковым (там же, с. 209-210). На высокую вероятность именно этого варианта происхождения этнонима и его древность указывает распространение исходной формы *«эвунки»* во всех тунгусо-маньчжурских языках. Производным от него словом «эвуникин» - *«поперечноглазый, косой»* именует человека медведь в мифологических сказках о животных (Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору, 1936, с. 16-18).

Третье самоназвание – «***орочон, орочол*** – оленник, оленевод» появляется впервые в официальных документах XVII в. и обозначает группы тунгусов-эвенков, населявших бассейны рек Алдан, Зея, Витим, Олекма, а также правые притоки среднего Амура. В XIX в.

этот этноним отмечен среди тунгусов бассейна р. Турухан, а также по рр. Тунгиру, Нюкже и Олдою. Независимо от индивидуальной интерпретации этимологии самоназвания *орочон*, практически все исследователи обозначают им группы оленных таежных охотников, в хозяйстве которых имеется относительно большие (до 30 голов на одного хозяина) стада домашних оленей, используемых как для транспортировки грузов, так и в качестве верховых животных.

Скорее всего, этноним *орочон* в представлениях его носителей подчеркивает специфику их оленеводческого хозяйства и можно согласиться с тем что «такое название вообще вряд ли появилось бы на свет» если бы все тунгусы были оленеводами (Василевич, 1969, 11-12; Туголуков, 1970, с. 210-212); Токарев, 1958, с. 497). По нашим сведениям, оленеводы – *орочоны* верховий р. Витим еще в середине 70-х годов прошлого века настаивали именно на этом самоназвании и противопоставляли себя остальным группам, называвшим себя *«эвенки»* или *«илэл»*. Следует также отметить, что в мифологических сюжетах эвенкийского фольклора название ***«орочон»*** в отличие от ***«илэл»*** и ***«эвенки»*** не присутствует, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о его относительно позднем происхождении.

Очевидно, то же значение, подчеркивающее специфику основных транспортных средств, имело название *«хундысал, хунникал – владельцы собак, собачьи»*, записанное в XVII в. А. Каменским - Длужиком от ангарских и в XVIII в. Д.Г. Мессершмидтом от катангских эвенков. Скорее всего, этим словом обозначали себя отдельные семьи и небольшие группы пеших охотников-тунгусов, которые вообще не имели транспортных оленей и использовали охотничьих собак для перевозки небольших грузов. В данном случае можно согласиться с мнением Г.М. Василевич, полагавшей, что названия *«хундысал, хунникал»* в XVII-XVIII вв. не были собственно этнонимами и бытовали лишь среди имевших домашних оленей эвенков в виде названия безоленных охотников. Скорее всего, это название

автоматически замещалось другими с появлением у хундысал хотя бы небольшого числа домашних оленей.

Наконец, следует отметить название *«хамнеган»*, использовавшееся бурятами для обозначения так называемых «конных» тунгусов Забайкалья, которые уже к началу XVIII в. в значительной степени были монголизированы и перешли от охоты к скотоводству. В.А. Туголуков считал, что происхождение этого «этнонима» практически не восстанавливается и относится к небольшой группе «обуряченных потомков солонов, состоявших на службе по охране северных границ Китая, в частности, по р. Аргунь» (Туголуков, 1970, с. 214-215).

Не менее сложной оказалась задача реконструкции родоплеменной структуры эвенков-тунгусов и, тем самым, решения проблемы существования в их среде хотя бы первичных типов этнических общностей (союзов племен). Как неоднократно отмечала Г.М. Василевич, наличие племен у тунгусов-эвенков не фиксируется ни этнографическими, ни лингвистическими, ни историческими источниками на всем протяжении XVII – начала XX вв.

Единственным фактом, «предполагающим существование племен у древних эвенков», по мнению Г.М. Василевич, «можно считать общность основных черт современных наречий или диалектных групп». Как известно, по языку современные эвенки разделяются на три крупные диалектные сообщества или относительно изолированные наречия. Два из них, по мнению Г.М. Василевич, сохраняют следы «древнего языка», представлены «свистящими» и «шипящими» диалектами, свойственными территориальным объединениям эвенков Прибайкалья и Забайкалья. Третье наречие включает «сибилятно-спирантные» («секающе-хакающие») диалекты, сложившиеся, по мнению Г.М. Василевич, значительно позже (Василевич, 1942, 1972, с. 165).

Некоторые ориентиры в понимании социальной организации

эвенков и существа тех территориальных объединений, которые носили самоназвания *«Илэл, Орочон, Эвенки»*, как нам представляется, содержат материалы эвенкийского фольклора, исследования Н.Н. Степанова, А.Ф. Анисимова, Б.О. Долгих (Анисимов, 1936, с. 107-125; Долгих, 1949, с. 70-73; Степанов, 1939, с. 68-70) и других авторов. В первую очередь следует отметить, что социальная организация эвенков-тунгусов в XVII – XIX вв. характеризовалась той «подвижностью этнических границ», о которой упоминалось в цитируемой нами работе С.А. Арутюнова.

Косвенные свидетельства о существовании каких-то аморфных родоплеменных структур отражены в сюжетах сказаний восточных эвенков. Особенно показателен в этом отношении, сюжет сказания о трех сестрах - Секак, Монгукчон и Догикчон, которые жили на «средней Сивир земле» в те времена, когда «небо только зарождалось (выделено нами – М.Т.) и было словно пуповина» (Василевич, 1966, с. 207-213, 260-267). Цитируемый «запев-зачин» сказания как бы подчеркивает, что описываемые события происходили в достаточно далеком прошлом, а сопоставление основных действующих лиц с женскими персонажами, очевидно, может рассматриваться как указание на то, что речь идет о трех обособленных общностях, ведущих своё происхождение от трех «праматерей».

Автономность этих общностей подчеркивается тем, что у каждой героини сказаний «по одному котлу было, [каждая] сама себе готовила, варила. [Каждая] свою еду ела. …Все три они не разговаривали между собой, ни о чем друг друга не спрашивали. Сами по себе жили. Так и жили от рождения» (там же, с. 207). На древность описываемых событий может указывать также то, что основные герои практически всех сказаниях (женщины или мужчины), не знают своего происхождения («если с неба упал – макушка была бы в инее» и т.д.). В этой связи в поисках «своих предков», родственников и брачных партнеров все герои сказаний путешествуют по чу-

жим «землям» и, побеждая всех «врагов», приобретают оленей.

Очевидно, сюжеты сказаний описывают некие, перешедшие в область легенд реальные события. Можно даже предположить, что они отражают относительно недавние процессы этнокультурных контактов и смешения относительно изолированных трех диалектных групп древней аморфной этнокультурной общности эвенков-тунгусов. Вполне допустимо предположение, что поиски героями сказаний ответа на вопрос о своем происхождении, их путешествия «в чужие земли», вступление в браки с «чужеродцами» и т.п. сюжеты отражают память о событиях «этнографической современности». С одной стороны, они могут интерпретироваться как свидетельства реального существования трех древних союзов племен. С другой стороны, они могут отражать события постепенной, все более глубокой изоляции друг от друга сложившихся диалектно-территориальных подразделений тунгусов, их активного сближения с иноязычными соседями и формирования новых этнокультурных связей, потенциально способствующих формированию новых этнических общностей.

Осторожные замечания о возможности существования у тунгусов и других народов Сибири некоторых элементов племенной организации, без четко выраженных институтов племенного самоуправления, высказывал Б.О. Долгих: «в ряде случаев, в связи с имевшими место миграциями», социальная структура тунгусов и народов Сибири в целом представляла «раннюю ступень развития племенной общности» (Долгих, 1970, с. 333). В «определенных условиях племенное самоуправление может распадаться и тогда высшей формой социальной организации остается род (фратрия)» (Долгих, 1960, с. 8-10). Более того, «на определенном этапе развития общества, этнического самосознания, отличного от осознания принадлежности» к «родовой» общине, члены которой связывают свое происхождение с общим предком, вообще не существовало» (Крюков, 1984, с. 11).

Очевидно, к числу «некоторых элементов» недостаточно развитой системы племенного самоуправления тунгусов-эвенков А.Ф. Анисимовым был отнесен институт выборных военных и «хозяйственных» вождей, память о которых содержат предания эвенков Подкаменной Тунгуски. Первые, носившие название *«этэг (сонинг)»*, объединяли под своим началом группы взрослых мужчин, принадлежавших к родовой общине или, в особых случаях, фратрии. Вторые - *«урилон этэйенгни (букв. караульщик родового хозяйства)»*, являлись наиболее авторитетными, сведущими в организации охотничьего и оленеводческого хозяйства мужчинами - членами родовой общины (Анисимов, 1936, с. 48-49, 65-66, 87-92).

В отличие от А.Ф.Анисимова и Б.О. Долгих, допускавших, что родоплеменная структура эвенков сохранялась до начала XX в., И.С. Гурвич полагал, что вхождение коренных народов Сибири в состав российского государства «повлекло за собой не укрепление, а дальнейшее ослабление родовых и племенных связей» (Гурвич, 1970, с. 385). Материалы переписи 1897 г., по мнению И.С. Гурвича, свидетельствуют, что существовавшие прежде территориальные объединения родовых общин были «почти повсеместно» разрушены, а родовая община «юкагиров, эвенков, эвенов… и др. уступила свое место территориальной, соседской» (там же, с. 388).

Очевидно, именно такая форма территориальных объединений эвенков была отмечена А.Ф. Анисимовым в 1930-х гг. среди эвенкийского населения Подкаменной Тунгуски. В его состав входила группа семей, связанных «общим владением охотничьими угодьями, рыбными промыслами и оленьими пастбищами». В материалах А.Ф. Анисимова «такая группа кочует по определенной территории, обычно по двум, трем или четырем речкам (в зависимости от количества семей); эти речки считаются их семейно-родовыми угодьями и находятся в общественной собственности» (Анисимов, 1936, с. 68). Такой тип территориальной общности эвенков, на взгляд А.Ф.

Анисимова, соответствовал «родовой общине», члены которой, кроме экономических интересов, объединялись общим происхождением от одного «предка» и признавали общее «родовое имя».

Воссозданная А.Ф. Анисимовым социальная структура эвенков, как известно, большинством российских этнологов не была принята. Как показывают материалы исследования Г.М. Василевич и В.В. Карлова (Василевич, 1972; Карлов, 1982), действительные формы социальных связей и типы социальной организации эвенков уже в начале XVII в. были более разнообразными и запутанными. Такие классические для первобытности нормы и понятия как экзогамия, «кровный род», «фратрия», «племя», «племенное самоназвание» либо вообще отсутствовали, либо существовали номинально.

По мнению В.В. Карлова для отдельной «общины эвенков, осваивавшей один хозяйственный регион, связи по кровному родству между входящими в нее семьями не были единственно возможной формой связей». Доминирующим типом связей семей, совместно осваивавших локальную хозяйственную территорию, являлись связи по «свойству». Такого рода связи действовали и формировались в условиях высокой мобильности эвенкийских семей и групп, периодической рекомбинации состава включенных в локальные производственные коллективы «кровных родов», а также межобщинных браков, в соответствии с которыми связи «по свойству» доминировали вопреки предписанным нормам и правилам родовой экзогамии (Карлов, 1982, с. 48-49).

Прогрессирующая тенденция к замещению кровнородственных экономических и социальных связей соседскими фиксируется различными источниками. В частности, об этом свидетельствует распространенный в диалектах западных и восточных эвенков термин *«ибдэри (букв. введенный)»*, которым обозначаются как группы родственников по браку (зятья и их патронимическая группа), так и вошедшие в территориальную общину не связанные с нею по ли-

нии браков «чужеродцы» (Василевич, 1969, с. 147; Анисимов, 1936, с. 186; ССТМЯ, 1975, с. 295). Как полагает В.В. Карлов, исторически сложившие «условия жизни и бытия эвенков Средней Сибири привели к созданию… своеобразной кочевой (точнее, полукочевой) общины, характерными признаками которой были подвижность и непостоянство ее состава, можно даже сказать, аморфность». Такой тип «общинных отношений», по мнению В.В. Карлова, характеризовался «чертами переходности от кровнородственных связей к территориально-соседским». Экзогамия как институт «кровного рода», судя по источникам, хотя и существовала, однако запрет на браки, как правило, распространялся не далее чем на потомство трех-четырех поколений, а экономические и социальные связи уже «в начале XX в. поддерживались между людьми, объединенными родством не дальше третьего, реже – четвертого колена. Более дальняя родня, носящая то же родовое имя, обитала, как правило, в иных хозяйственных районах и связей между этими разошедшимися ветвями одного рода практически не было» (Карлов, 1982, с. 52, 55).

Косвенным указанием на отсутствие прочных и постоянных связей между территориально разобщенными и экономически самодостаточными соседскими общинами, очевидно, являются исторические свиде-тельства о том, что обязательства по выплате ясака под *«аманата»* «прослеживались лишь у людей из его патриархальной группы, а не [кровного] рода» (Карлов, 1982, с. 65; Степанов, 1939, с. 54). Номинальность кровнородственных связей подтверждается также ситуативностью объединения разошедшихся кровнородственных семей и патронимий. Как единый коллектив территориальные группы эвенков выступали лишь в ходе кровопролитных вооруженных конфликтов, которые были рядовым событием в эвенкийской истории вплоть до XIX в. и сопровождались грабежами оленей и имущества, поголовным истреблением «мужеского пола» всех возрастов, насильственным уводом женщин.

Как показывают сюжеты исторических преданий, противниками эвенкийских общин в вооруженных столкновениях могли быть не только иные по языку и культуре соседи (например, группы кочевых скотоводов), но и близкие по культуре и роду занятий группы пеших и оленных охотников (Василевич, 1966, с. 8-11, 14, 16, 20, 23-25). По нашим материалам, врагами эвенков, носившими названия *«чангит, манги-чангит»*, нередко становились территориально и экономически обособившиеся части кровных родов, которые какое-то время сохраняли общее «родовое» самоназвание. В преданиях также довольно часто упоминается о том, что такие «враги - чангиты» обменивались с эвенками женами и поначалу выглядели «как настоящие люди».

Внутренние консолидирующие связи, объединяющие соседские общины и кровные роды по случаю вооруженных столкновений с соседями становились номинальными сразу же после того, как конфликтная ситуация ликвидировалась. «Замирение» враждующих сторон, как правило, происходило после взаимного обмена женщинами с детьми, оленями и другим имуществом (Анисимов, 1936, с. 163, 167, 175; Василевич, 1972, с. 164; 1966, с. 4-5, 9, 11, 16-17; Карлов, 1982, с. 50, 57, 63, 72).

Не менее аморфными и ситуативными представляются социальные связи и таких крупных территориальных объединений эвенков, как «административный род», а также тех, которые по А.Ф.Анисимову и Б.О. Долгих соответствовали «фратрии» и «племени». Как отмечает В.В. Карлов, «классическое племя (имеет ли оно фратриальное устройство или просто объединяет группу родов) всегда эндогамно, и браки вовне – редчайшее исключение. У эвенков такие браки… в порядке вещей», а отмеченные в официальных источниках и некоторых этнографических публикациях эвенкийские «племена», в действительности, представляют собой «определенную этнографическую единицу, а не социально-консолидированную

организацию» (Карлов, 1982, с. 76, 79).

Как полагает В.В. Карлов, несмотря на отсутствие четко обозначенной системы самоуправления и социальной организации, такая «этнографическая единица» у эвенков и других стадиально близких им народов мира могла характеризоваться общностью осваиваемой территории, языка, а также особым именем, отличным от наименований других этнотерриториальных объединений локальных соседских общин (Карлов, 1982, с. 74).

Судя по всему, в системе административного деления податного охотничье-оленеводческого населения Сибири такое территориальное объединение соответствовало «ясачной волости». Данная общность представляла собой наиболее крупное компактное и, самое главное, достаточно стабильное по составу диалектное объединение территориально-соседских общин, включающих отдельные семьи и патронимии, связанных хозяйственным освоением смежных участков охотничьих, рыболовных и пастбищных угодий. Условия хозяйствования отдельной семьи или патронимии не предполагали их изоляцию от входящих в территориальную группу соседей, постоянно выходили за пределы своих хозяйственных территорий и могли расселяться в границах «чужих угодий». Вместе с тем, если перемена места жительства внутри угодий такого территориального объединения соседских общин было обычным явлением, то выходы за границы административно подчиненного «ясачной волости» хозяйственного района, а также переселения в удаленные «чужие» регионы были крайне редки (Карлов, 1982, с. 77).

Судя по нашим наблюдениям, подобная связь с определенной обширной территорией обитания сохранялась у ангарских и нижнетунгусских эвенков еще в первой половине прошлого века. Так, например, в представлениях «ербогочонской» диалектной группы (территориально-соседской общины) эвенков понятие «своя земля» охватывало огромные территории и включало: а) «родовые уго-

дья» - осваиваемые несколькими поколениями отдельных семей или патронимий бассейны трех-четырех крупных притоков р. Нижней Тунгуски; б) хозяйственные территории соседних семей и патронимий.

Территориальные границы хозяйственных угодий ербогоченской группировки эвенков до сих пор картографически не выделены. Известно лишь, что в официальных источниках XIX–начала XX в. эта территория находилась в подчинении «кондогирской инородческой управы», названной по одноименному «ясачному зимовью» первой половины XVII в. Сегодня, по общественному договору между эвенками и русскими старожилами Катангского района, она включает всю левобережную часть бассейна р. Нижней Тунгуски. В верховьях ее границы обозначены притоком Нижней Тунгуски - р. Еромой, в нижнем – р. Илимпеей, а в северо-западном направлении – современной административной границей Эвенкийского АО (рис. 14).

Внутри этой огромной территории перемещения отдельных семей и патронимий эвенков, как и охота и рыболовство в «чужих родовых угодьях», было обыденным явлением и воспринималось как норма. Что же касается земель за пределами указанных границ, то ниже устья р. Илимпеи в угодья «илимпейской» диалектной группы «ербогоченские» эвенки, по их собственному признанию, в связи с реальной угрозой вооруженных столкновений «заходить боялись». Аналогичные запреты для перехода в угодья «ербогоченских» эвенков распространялись на «непскую» («курейская инородная волость») и «илимпейскую» диалектно-территориальные группировки соседских общин. Из косвенных источников также известно, что основной причиной конфликтов внутри образованной в 1930-1940-х гг. Хандинской общины эвенков (Казачинско-Ленский район Иркутской области) до середины 1980-х гг. являлось административное решение, соединившее в границах одного «хозяйственного регио-

на» угодья нескольких генеалогически разных патронимий.

В.В. Карлов, безусловно, прав в замечании по поводу того, что постоянная и долговременная (в протяженности жизни нескольких десятков поколений) связь объединений соседских общин с определенными хозяйственными территориями, общий диалект и наименование еще не являются достаточными основаниями для сопоставления данной общности с племенами «классического (по Л.Г. Моргану – «ирокезского») типа. Вместе с тем вряд ли можно согласиться с ним в том, что общее имя, отделяющее одну территориальную группировку от другой, для представленных в ней соседских общин было номинальным и «существовало только в глазах посторонних (Карлов, 1982, с. 79).

Как свидетельствуют материалы исследований Г.М. Василевич, анализируемые В.В. Карловым эвенкийские термины родства тэгэ, дялви могут иметь несколько иное значение. Так, термин *тэгэ* имел, действительно, широкое значение и обозначал «чужеродные» сообщества - территориальные объединения соседских общин, роды, семьи и другие этнической общности (ССТМЯ, 1977, с. 226). Как полагает Г.М. Василевич, этот же термин мог употребляться в качестве обозначения «сородичей», хотя более широкое распространение имел, очевидно его синоним дялви, образованный от *«дав, дан, дал - передавать просьбу, свататься»* и семантически близкий лексемам *«свойственник, сват, обмен невестами»* (Василевич, 1969, с. 146-148).

На наш взгляд, допустимо предполагать, что оба термина, в зависимости от ситуации, могли ассоциироваться у эвенков с определенным территориальным объединением людей, состоящих с ними в отношениях генеалогического родства или представлявших круг предписанных экзогамией потенциальных и реальных брачных партнеров (свойственников по браку). Впрочем, очевидно, именно о таком варианте осмысления терминов пишет сам В.В. Карлов: «ино-

гда, говоря об эвенках соседних районов, информаторы употребляли выражение «хыроколь тэголь» («чужие тэго»), оно указывает на то, что некое единство местных родов, как генетически близких (выделено нами – М.Т.)… хотя и смутно, но осознавалось» (Карлов, 1982, с. 81).

Более того, В.В. Карлов допускает, что носители одного диалекта могли восходить «к трем древним племенам», однако в современности (вторая половина XX в. – момент целенаправленных исследований социальной структуры эвенков) «интеграция племенного типа… не была достаточно четко выраженной… Хотя их территориально-племенные группировки (в основном, вероятно, совпадавшие с диалектами) были, безусловно, формой этнической жизни». В этой связи В.В. Карлов полагает, что «эвенки Енисейско-Ленского междуречья представляли собой часть широкой эвенкийской этно-лингвистической общности, объективно не стремящейся к этно-демографическому уплотнению и социальной консолидации (выделено нами – М.Т.)» (Карлов, 1982, с. 82, 85, 89).

Внутренние связи, соединяющие семейные группы и патронимии в компактные территориально-соседские общины, очевидно, имели прежде всего экономический характер. Социальные (этнокультурные, кровнородственные и брачные) связи отдельных соседских общин простирались далеко за пределы указанных «этнолингвистических» общностей и характеризовались достаточно постоянными и длительными контактами эвенков» с этнографическими группами контактных этнических общностей. Аморфность этнических маркеров, продолжительные этнокультурные и экономические контакты эвенкийских соседских общин с иноязычными соседями, очевидно, являлись ведущими факторами, определявшими появление в языке и культуре западных и восточных эвенков разнообразных заимствований.

Так, из этнографических публикаций эвенкийского фольклора и

наших полевых материалов известно, что общины прибайкальских эвенков поддерживали тесные связи с группами так называемых *мекачунов* и *чулугды*. Судя по описаниям эвенков и те, и другие представлялись «покрытыми густой шерстью, половинчатыми» (с одной половиной тела, одной рукой и одной ногой) человекоподобными существами, которые жили в деревянных балаганах по берегам рек и озер, питались сырым мясом и рыбой, не имели оленей и обладали навыками простейшего металлургического производства. В ряде случаев эти соседи эвенков именовались *«калтачи – расколотые, расщепленные»*. Как считал В.А. Туголуков, браки эвенков с *«калтачи»* явились причиной формирования эвенкийского рода *«Калтагир»* (Туголуков, 1980, с. 169).

На наш взгляд, через посредство постоянных контактов эвенков «кондогирской ясачной волости» с группами самодийского населения, обитавшими по левобережью Енисея в районе устья р.р. Нижняя и Подкаменная Тунгуски, объясняется появление в их оленеводческом инвентаре косокопыльных нарт (фото 3). По нашим сведениям, соседские общины ангарских и ербогочонских эвенков в конце XIX – первой четверти XX в. поддерживали постоянные контакты с тофаларами. Ангарские эвенки ходили к тофаларам для ремонта огнестрельного оружия, а ербогоченские обменивались с ними оленями для улучшения породы своих стад.

Очевидно, теми же постоянными и долговременными контактами с иными по языку и культуре этническими общностями, объясняется языковая и культурная специфика восточных эвенков. Как уже отмечалось, «орочонский» тип оленеводства мог формироваться под непосредственным влиянием выходящих в лесостепные районы Забайкалья-Приамурья тюркоязычных и монголоязычных скотоводов. Определенное воздейсвие на формирование культуры восточных эвенков, по всей видимости, оказывали земледельческо-скотоводческие группы *киданей и мохэ*, а также группы оседлых

речных рыболовов среднего и нижнего Амура. В частности, можно предполагать, что с культурами оседлых рыболовов устья Амура и морских охотников-рыболовов побережья Охотского моря связано появление в инвентаре дальневосточных эвенков такого специфического орудия рыболовства, как острога *элгу* с отделяющимся наконечником.

Заключение

Прежде всего, следует отметить, что предпринятое нами изучение всего наличного банка разнообразных этногенетических источников, к сожалению, не завершилось тем, что проблема этногенеза эвенков имеет наконец более или менее удовлетворительное решение. Приходится признать, что, несмотря на достаточно большой объем накопленных этногенетических данных, в них до сих пор существуют существенные пробелы. Особенно ощутима нехватка данных по антропологии, а археологическое изучение «предтеч» современных вариаций хозяйства и материальной культуры пока еще находится в состоянии предварительного накопления материалов. Таким образом, общие результаты анализа антропологических, лингвистических, археологических и этнографических данных могут группироваться не иначе, как в следующих предварительных соображениях.

1. Совокупность этногенетических источников указывает на то, что ранние этапы этногенеза всей совокупности «западных» и «восточных» ветвей эвенкийской этнокультурной общности имеют общие для всех «северных тунгусов» корни и восходят к неолитическим обитателям обширного пространства таежной зоны от Енисея до Тихого Океана.

Материалы классической антропологии и популяционной генетики позволяют утверждать, что физический тип эвенков демонстрирует уникальное для всего пространства популяций Северной Азии сочетание признаков, выделяющих их в особую ветвь «североазиатских» монголоидов, имеющую, по всей вероятности, достаточно древнее происхождение. Современный антропологический состав «северных тунгусов» (эвенков и эвенов) характеризует их как совокупность территориально изолированных и одновременно генетически связанных популяций, образующих относительно одно-

родную «надэтническую макропопуляцию».

Более того, «западная» (среднесибирская) группа эвенков и часть эвенов, населяющих северо-западные районы Якутии, представляют собой источник постоянного и интенсивного потока генов, связывающих происхождением как все территориальные подразделения эвенков-тунгусов, так и отдельные группы северо-восточных самодийцев и тофалар. Данные популяционной генетики, полученные по результатам серологического анализа и изучения следов мтДНК древних и современных популяций, показывают, что максимальная концентрация неолитической «пратунгусской» комбинации генов фиксируется в популяциях «катангского антропологического типа», представленных эвенками Средней Сибири.

2. Несмотря на явные следы преемственности между древними и современными популяциями тунгусов, современные эвенки, по общему признанию классических антропологов и генетиков, не могут считаться прямыми потомками древних обитателей этих территорий и представляют собой лишь измененный, модифицированный аналог исходной основы. Современная морфологическая неоднородность физического типа и разделение эвенков на два крупных «фенотипа» - «катангский» и «байкальский», очевидно, является результатом:

а) дробления «материнского» популяционного «ядра» и территориальной изоляции выделившихся из него популяций;

б) смешения «западных» и «восточных» эвенков с популяциями «уральских» и «центральноазиатских» монголоидов. При этом, если процессы смешения западных эвенков с «уральской» расой фиксируются с глубокой древности, то присутствие в антропологии «южной» группировки тунгусоязычных народов Забайкалья-Приамурья признаков центральноазиатского типа, скорее всего, является следствием поздних (возможно, исторически фиксируемых) контактов и брачных связей «северных тунгусов» с предками бурят и/или яку-

тов.

3. Судя по всему, древнейшие корневые основания эвенкийского языка формировались в составе так называемой «урало-алтайской лингвокультурной общности», время существования которой датируется эпохой верхнего палеолита. Выделение из нее алтайской языковой семьи и последующее обособление тунгусо-маньчьжурских языков, по всей вероятности, синхронизируется с дифференциацией общего ствола североазиатских монголоидов и выделения из нее катангского и байкальского антропологических типов.

Следующий этап дифференциации тунгусо-маньчжурских языков, очевидно, датируется первыми веками н.э. и характеризуется обособлением северной и южной языковых ветвей, выделением в северной эвенского и эвенкийского языков. Очевидно, уже в это время в эвенкийском языке происходит обособление западной и восточной диалектных групп, объединяющихся в два наречия – «секающее» - эвенки бассейнов Енисея и Лены, и «шекающее» - распространенное среди эвенков Забайкалья, южных районов Якутии и Приамурья.

По всем данным, различия между указанными диалектными группами формировались в условиях разнонаправленных этнокультурных контактов с ближайшими иноязычными соседями. Так языки «енисейских» эвенков формировались в условиях продолжительных культурных и социальных связей с северо-восточными самодийцами, а также с группами эвенов и юкагиров. В свою очередь «восточная» группа диалектов, в частности локальных общин Забайкалья и Приамурья, уже в первые века н.э. испытывала влияние как со стороны племенных союзов «мохэ» и «киданей», так и со стороны тюркоязычных и монголоязычных племен, населяющих смежные территории Монголии. Результатом этих и более поздних (очевидно, датируемых XII-XIV вв.) контактов забайкальско-приамурских эвенков с предками бурят и якутов считается появление в их лексике

большого числа заимствований из скотоводческой терминологии. Возможно, еще более поздними контактами с «палеоазиатским» населением Тихоокеанского побережья объясняется присутсвие в языке дальневосточных эвенков признаков смешения с языками чукчей и коряков.

4. Принципиальных возражений по поводу «автохтонного» (сибирского) происхождения культуры эвенков и связи её архаических компонентов с культурами охотников-собирателей, осваивающих таежные, подтаежные и горнотаежные пространства в эпохи неолита – ранней бронзы, нами не обнаружено. В то же время, в отличие от процессов антропо- и глоттогенеза, характеризовавшихся разделением общей языковой и генетической основы на относительно изолированные антропологические типы и лингвистические общности, специфические черты «западных» и «восточных» эвенков, как и более мелких территориальных групп, по всей видимости, формировались уже на ранних стадиях культурогенеза северных тунгусов и явились локальными вариантами общего ХКТ подвижных охотников-собирателей-рыболовов, адаптированных в локальных экосистемах (антропогеоценозах) Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Вторым по значению фактором, определившим локальные особенности культуры западных и восточных эвенков, очевидно, являются более поздние («средневековые») контакты с иноязычными соседями, в процессе которых в эвенкийской культуре формируется слой достаточно многочисленных «заимствований». Скорее всего, с этими контактами связано формирование особенностей «эвенкийского» и «орочонского» типов оленеводства и связанных с ними элементов материальной культуры. К этой же категории могут быть отнесены специфические типы каркасного жилища дальневосточных эвенков: *«чорама дю, чум-утэн»*, особые формы героических сказаний восточных эвенков, особые типы рыболовных острог и т.п.

5. Этнографические источники, позволяют предполагать, что к началу XX в. этническая консолидация локальных этнографических групп эвенков-тунгусов еще не завершилась, следовательно, так называемая «этническая история» официально заявленной «народности», в лучшем случае, представляла собой финальную стадию этногенеза. На это, в частности указывает отсутствие общего этнонима и чрезвычайная аморфность горизонтальных (межгрупповых, территориальных) и вертикальных (между поколениями одной соседской общины) связей.

Вместе с тем на всем протяжении «российского периода» в среде территориально разобщенных, однако интенсивно взаимодействующих, соседских общин западных и восточных эвенков–тунгусов происходило формирование тех «комплиментарностей» (по Л.С. Гумилеву), которые объективно могли быть основой консолидации эвенкийского этноса, осознающего свое внутреннее единство и отличие от других соседних этнокультурных общностей. На это, в частности, указывает то, что, несмотря на многочисленные заимствования из культур «иноязыких» соседей, все без исключения территориальные/диалектные группы эвенков сохраняли общие базовые черты языка, хозяйства, материальной и духовной культуры и представляли собой совокупность биологически связанных популяций.

Консолидация территориально разобщенных, экономически и социально изолированных групп эвенков-тунгусов в единый этнос, очевидно, могла состояться лишь под влиянием внешних консолидирующих факторов, организующих и упорядочивающих интегрирующие связи между основными территориально-диалектными группами. Одним из таковых, в какой-то мере, могла являться административная политика российского самодержавия, объединившая все диалектные группы эвенков общим экзонимом «тунгусы». Однако, до 1930-х гг. объединение разрозненных территориальных

общин тунгусов в административные единицы и формально единую этнокультурную общность имело сугубо утилитарный смысл и фактически не изменяло сложившейся структуры «горизонтальных» экономических и социально-политических связей.

Реальные внешние предпосылки консолидации «эвенкийской народности», очевидно, появились уже в «советское время» и были инициированы государственными программами «национального строительства», экономического и социального развития «малых народов» Сибири и Севера. Ускорение вяло текущих процессов этнической консолидации разрозненных групп «тунгусов» могло быть стимулировано:

- официальным провозглашением их в качестве сложившейся отдельной «народности»;
- введением в официальную документацию и переписные материалы общего наименования;
- созданием «общенационального» письменного языка, на котором велось преподавание в начальных классах общеобразовательной школы до середины 1950-х гг.;
- государственными программами формирования слоя «национальной» научной и творческой интеллигенции, в сознании которой прочно утверждалось сознание принадлежности к единому этносу.

Все перечисленные и другие факторы, на наш взгляд, закладывали реальные основания преодоления языковых, социальных, экономических и этнокультурных «барьеров», разделяющих эвенкийский социум на разрозненные территориально-диалектные группы. Если исходить лишь из данных периодических переписей населения, то процесс формирования эвенкийской этнической общности (народа) завершился уже к началу 1950-х годов.

Вместе с тем, данные переписей, как правило, отражают состояние этнической самоидентификации на каждый конкретный акт опроса, в какой-то мере сознательно или невольно «программиру-

ют» ответы опрашиваемых и не вполне адекватно отражают реалии, очевидно, «мерцающего» этнического самосознания. Как уже отмечалось, в ряде случаев первое место в личностных и групповых идентификациях принадлежности к категории «мы – свои» занимали родовые самоназвания (Кургагир, Кондогир и т.д.) и такие локальные «этнонимы» как «илэл», «эвенки», «орочоны».

Еще раз подчеркнем, что вопрос о наличии в эвенкийской среде «этнического самосознания», выраженного через общераспространенную практику именовать себя общим этнонимом «эвенки», требует более глубокого, нежели «анкетирование», изучения. Позволим себе предположить, что до середины 80-х годов прошлого века эти дефиниции окончательно утвердились лишь в сознании «национальной интеллигенции», занимавшей по отношению к остальным социальным стратам «эвенков-тунгусов» некое маргинальное положение.

Лишь в начале 1990-х гг. после распада «общесоветского этнокультурного пространства» этническое самосознание и этноним посредством «масс медиа» и усилиями «национальной интеллигенции», начинают активно внедряться в сознание всех социальных слоев эвенкийского социума. Тем самым можно, очевидно, полагать, что финал этногенеза эвенков завершился при жизни этнографов поколения 1950-х гг., а этническая история народа только начинается.

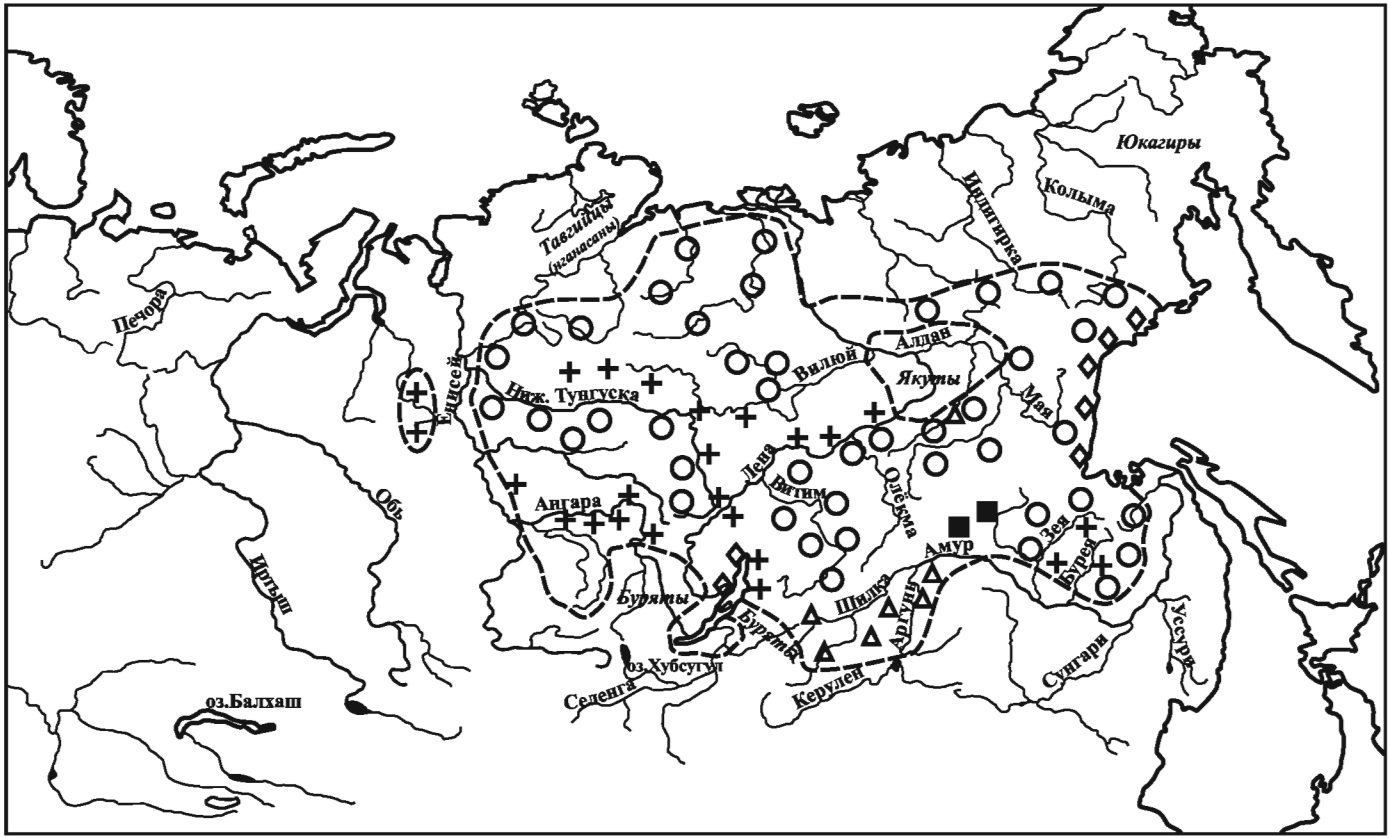


Рис.1. Расселение северных тунгусов (эвенков и эвенов) в XVII в. и их дифференциация по типам хозяйства (по Г.М.Василевич, 1969 и Б.О.Долгих, 1970)

- ареал расселения северных тунгусов; - "пешие" ("сидячие", "лодочные"); - "ламские" ("сидячие"); - "оленные"; - "конные"; - "скотные"

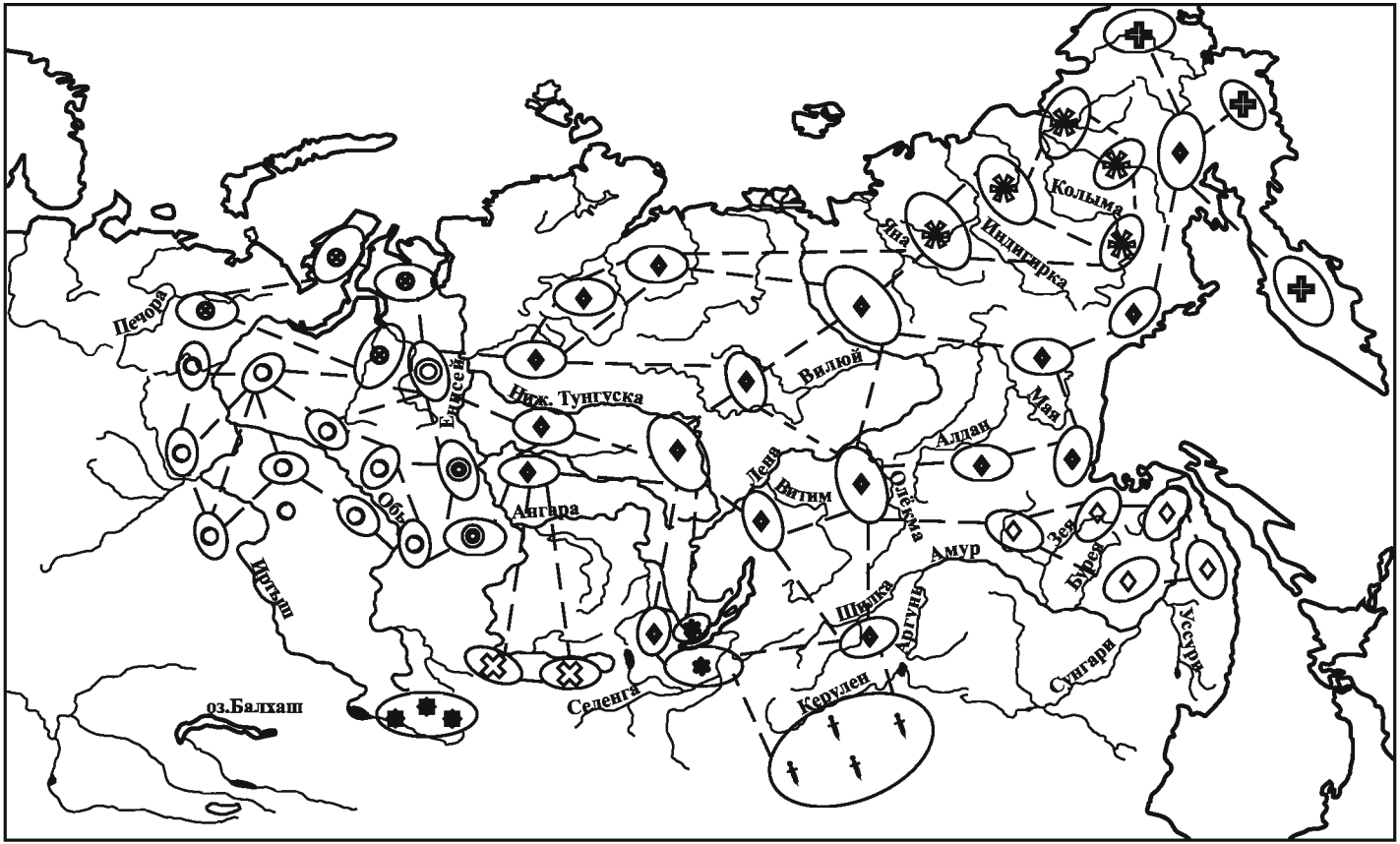


Рис. 2 Пространственная организация "предковых" популяций монголоидов Северной Азии во 2-3 вв. до н.э. - 6 в. н.э

- "ненцы" - "энцы" - " селькупы" - "ханты" - "манси" - "алтайцы" - "северные тунгусы" (эвенки и эвены) - "южные тунгусы"

- "юкагиры" - "буряты и якуты" - "тоджинцы и тофалары" - "северовосточные палеоазиаты" - "нивхи" - "протомонголы и прототюрки"

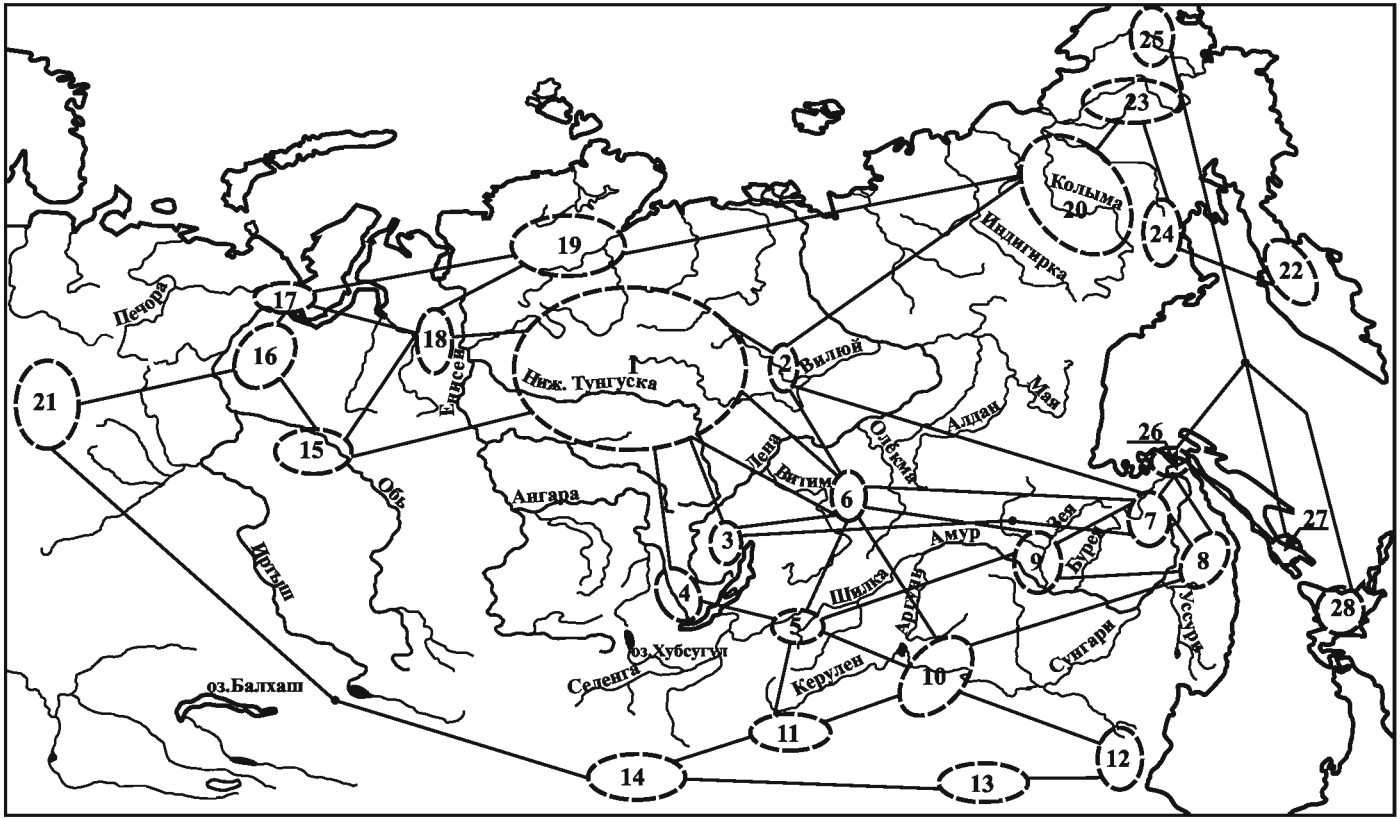
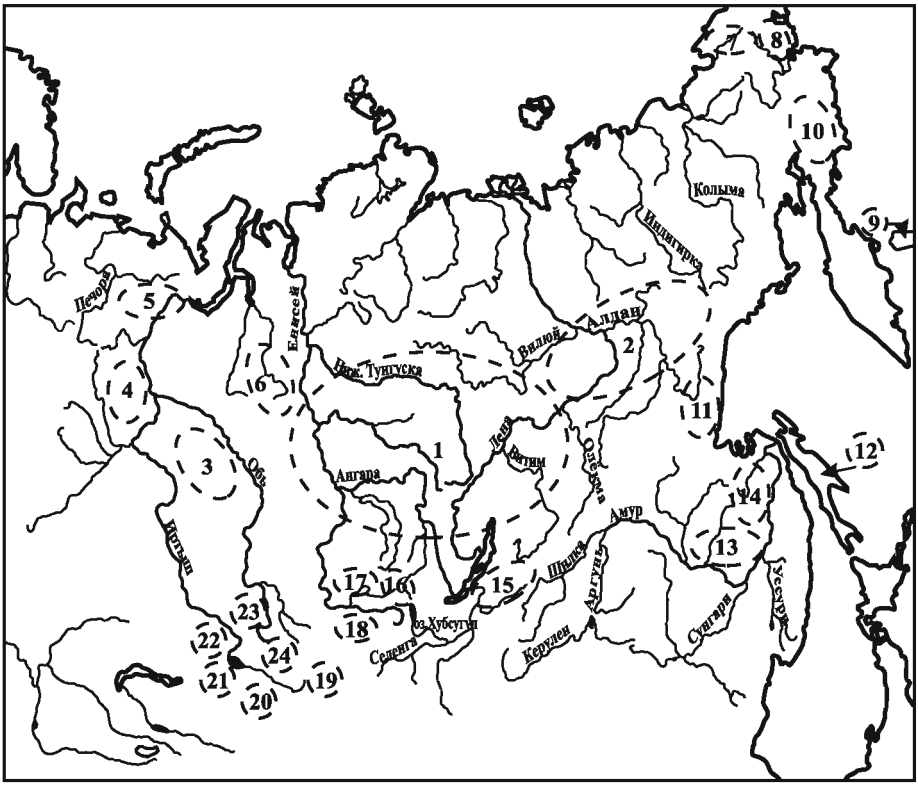


Рис. 3 Пространственная организация популяций монголоидов Северной и Центральной Азии по данным антропологии и популяционной генетики (эпохи неолита - раннего железного века)

Линиями обозначены установленные направления межпопуляционных миграций генов. Цифрами обозначены: 1,2,6 - "катангский тип" (среднесибирская группа популяций, материалы стоянок Туой-Хая, Нижняя Джиримда); 3-5, 7-9 - "байкальский тип" (материалы могильников "серово", "глазково", популяции Приморья и Дунбэя, популяция "мохэ"); 10-14 - популяции центральноазиатского типа; 15-18 - популяции уральского типа; 19-20 - палеосибирская группа популяций; 21 - европеоиды Предуралья; 22-24 - палеоазиаты; 25 - протоэскимосская; 26-28 - тихоокеанская ветвь монголоидов (протоайны, протонивхи)



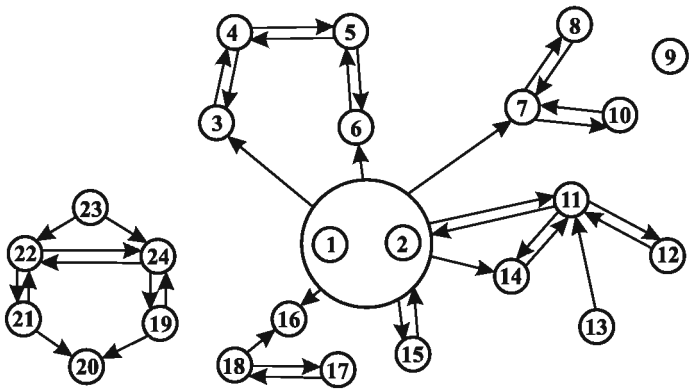


Рис. 4 Структура этнического уровня популяций Северной Азии по данным о миграциях генов (по Ю.Г.Рычкову)

1 - эвенки; 2 - эвены; 3 - ханты; 4 - коми; 5 - ненцы; 6 - селькупы; 7 - чукчи; 8 - эскимосы; 9 - алеуты; 10 - коряки; 11 - ульчи; 12 - нивхи; 13 - нанайцы 14 - негидальцы; 15 - буряты; 16 - тофалары; 17 - тоджинцы; 18 - тувинцы; 19 - кумандинцы; 20 - тубалары; 21 - теленгеты; 22- алтай-кижи; 23 - лебединцы; 24 - шорцы

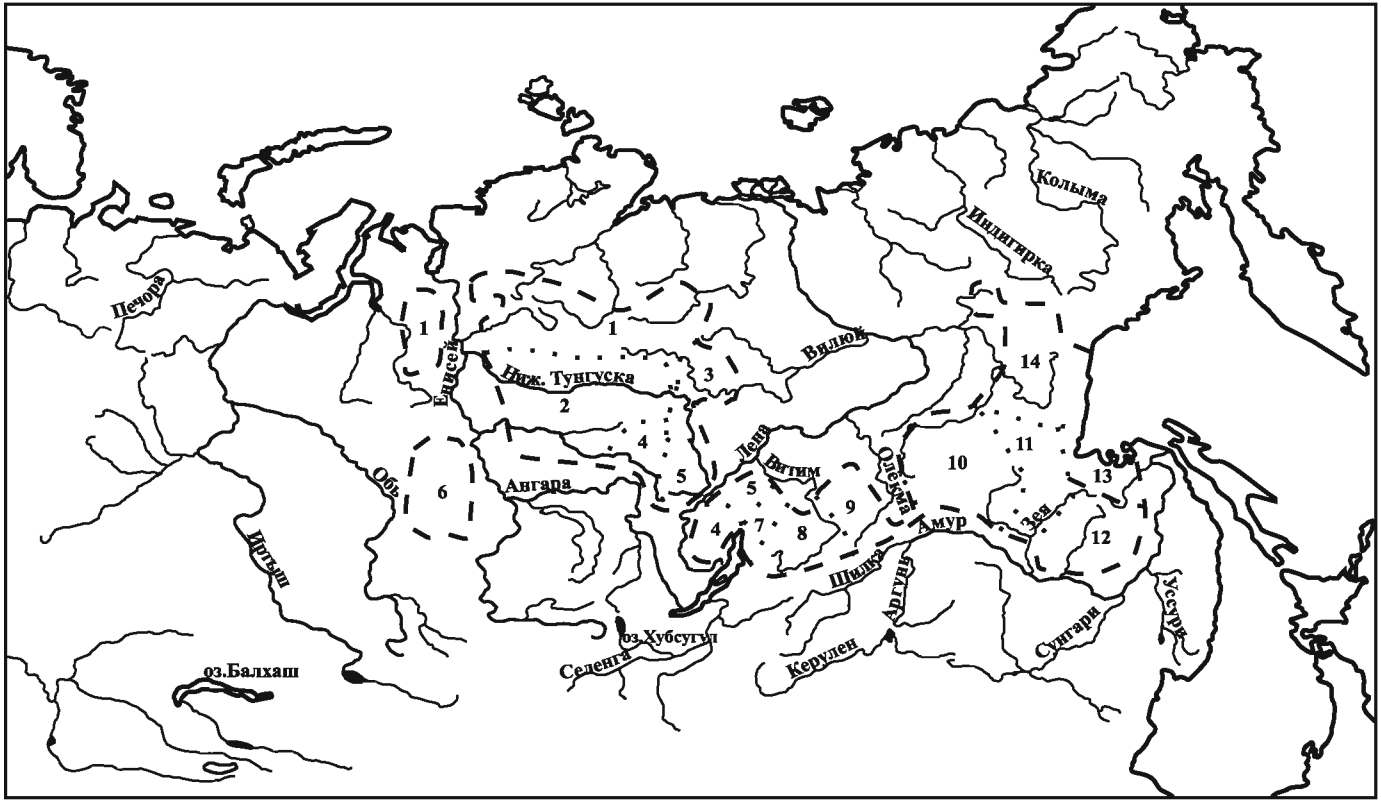


Рис. 5 Диалекты и говоры эвенков в первой половине XX в. (по Г.М. Василевич, 1969)

Северный спирантный диалект: 1 - Илимпейский; 3 - Ербогоченский.

Южный сибилянтный свистящий: 2 - Подкаменнотунгусский; 5 - Непский; 8 - Витимо-нерчинский.

Южный сибилянтный шипящий: 4 - Токминско-верхнеленский; 6 - Сымский; 7 - Северобайкальский.

Восточный сибилянтно-спирантный: 9 - Витимо-олекминский; 10 - Верхнеалдано-зейский; 11 - Учуро-зейский; 12 - селемджинско-бурейско-урминский; 13 - Чумиканский; 14 - Аяно-майский.

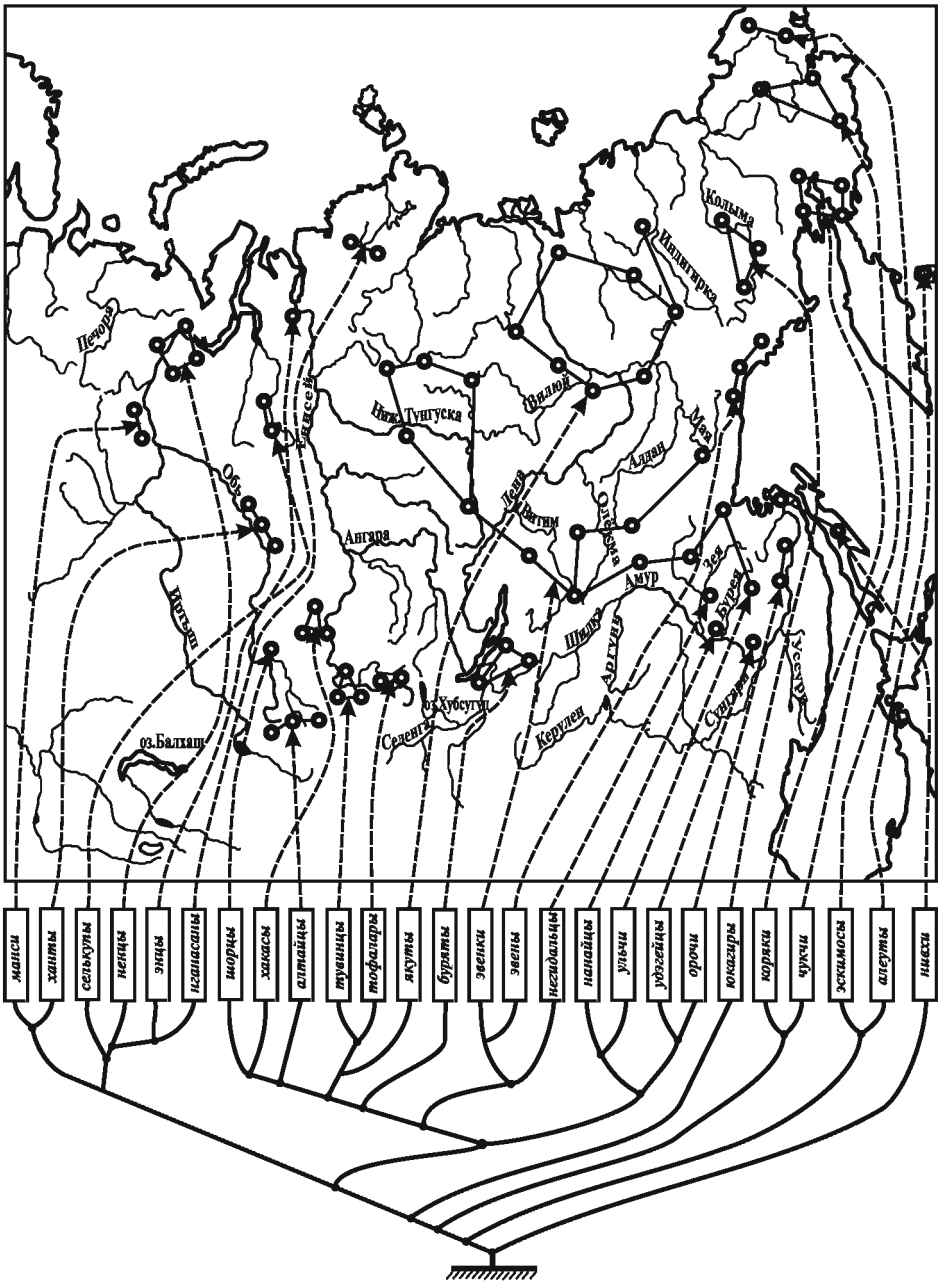


Рис. 6 Этнолингвистическое древо населения Северной Азии с его проекцией на изученные популяции (по Ю.Г.Рычков, 1985; О.Ю.Наумова и другие,1997)

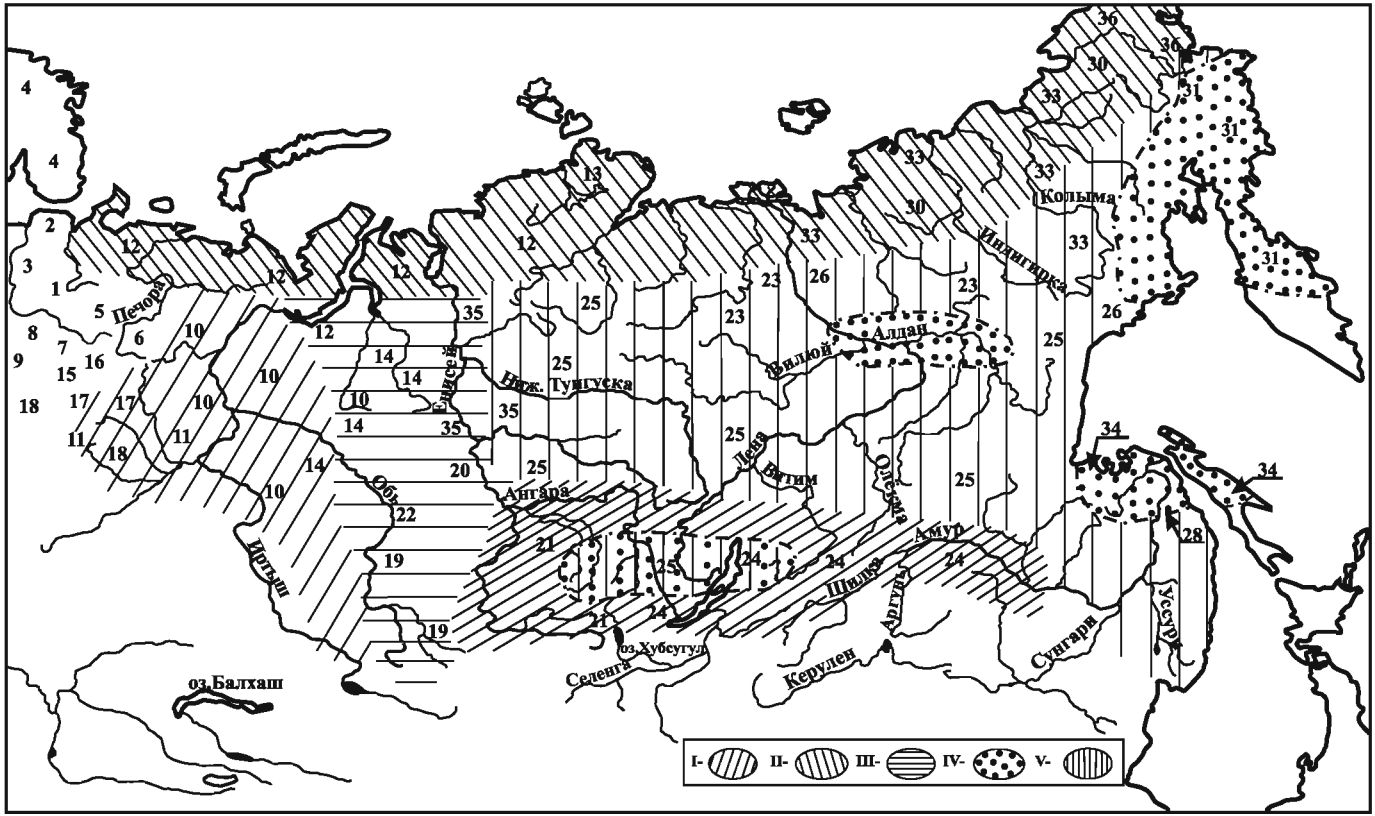


Рис. 7 Типология способов захоронений у народов Сибири и Дальнего Востока (по И.С.Гурвич, 1978)

I - Захоронения в земле. II - Наземные захоронения. III - Воздушные захоронения на деревьях. IV - Трупосожжения. V - Воздушные захоронения на помостах. Цифрам соответствуют: 1 - русские; 2 - карелы; 3 - вепсы; 4 - саамы; 5 - коми; 6 - коми-пермяки; 7- удмурты; 8 - марийцы; 9 - мордва; 10 - ханты; 11 - манси; 12 - ненцы; 13 - нганасаны; 14 - селькупы; 15 - чуваши; 16 - татары; 17 - башкиры; 18 - казахи; 19 - алтайцы; 20 - хакасы; 21 - тувинцы; 22 - шорцы; 23 - якуты; 24 - Буряты; 25 - эвенки; 26 - эвены; 27 - нанайцы; 28 - ульчи; 29 - удэге; 30 - чукчи; 31 - коряки; 32 - ительмены; 33 - юкагиры; 34 - нивхи; 35 - кеты; 36 - эскимосы; 37 - алеуты

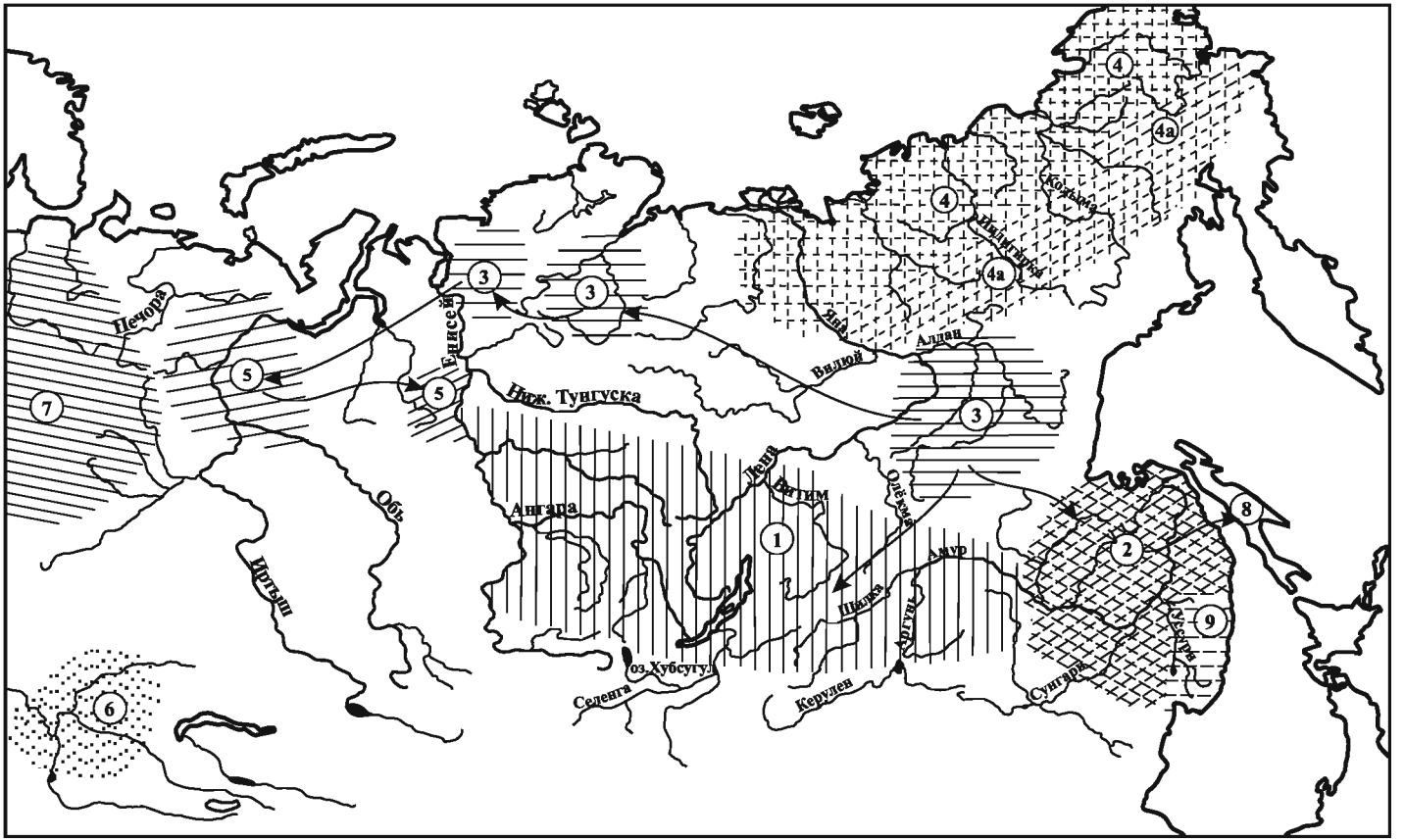


Рис. 8 Культурные провинции неолита Сибири по Окладникову, 1956 (графика Н.А. Савельева)
1. Байкальская; 2. Амурская; 3. Среднеленская; 4. Нижнеленская; 5. Обская; 6. Кельтеминарская; 7. Уральская; 8. Сахалинская; 9. Приморская. Стрелками указаны направления перенесения элементов культурных традиций.

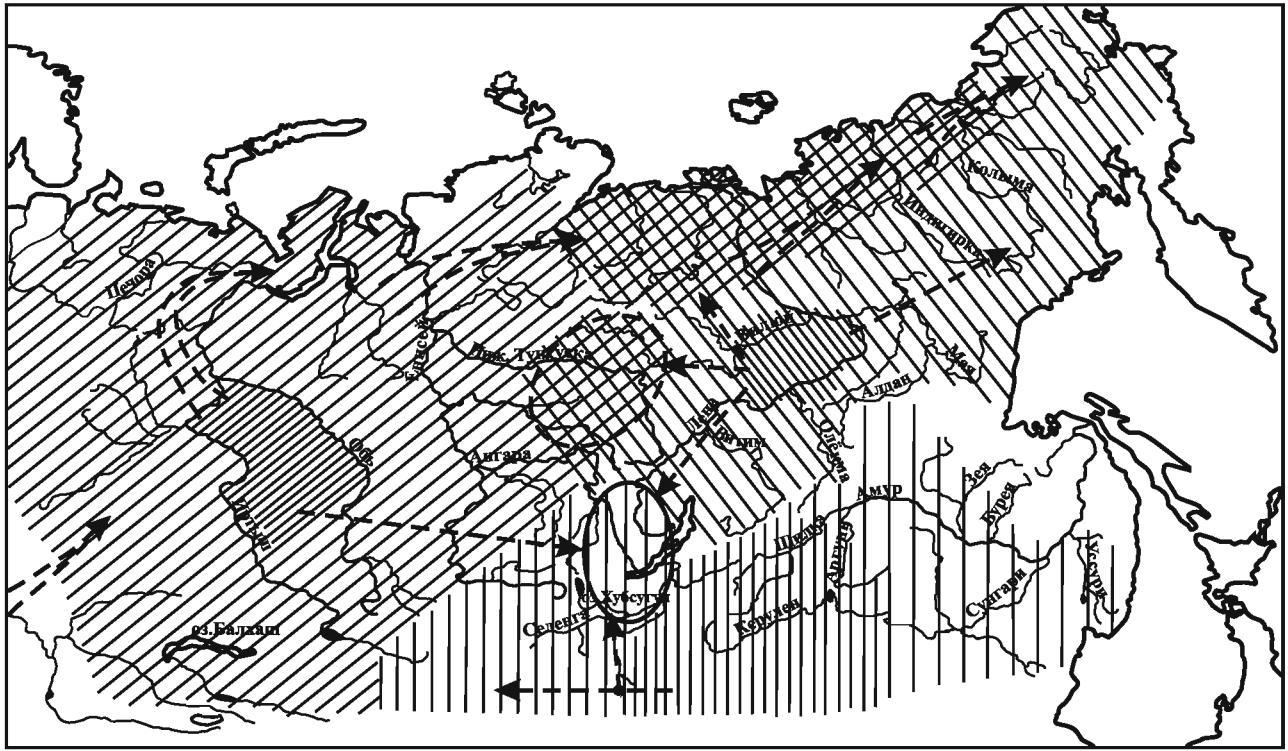


Рис. 9 Этнокультурные ареалы неолита Северной Азии по В.Н.Чернецову (графика Н.А. Савельева).

Байкало-Ленский ареал; *Урало-Сибирский ареал* *Даурский ареал* *Исаковская культура.*

Китойская культура. Двойная штриховка - ядра культурных ареалов. Стрелки - предполагаемые направления миграции культур.

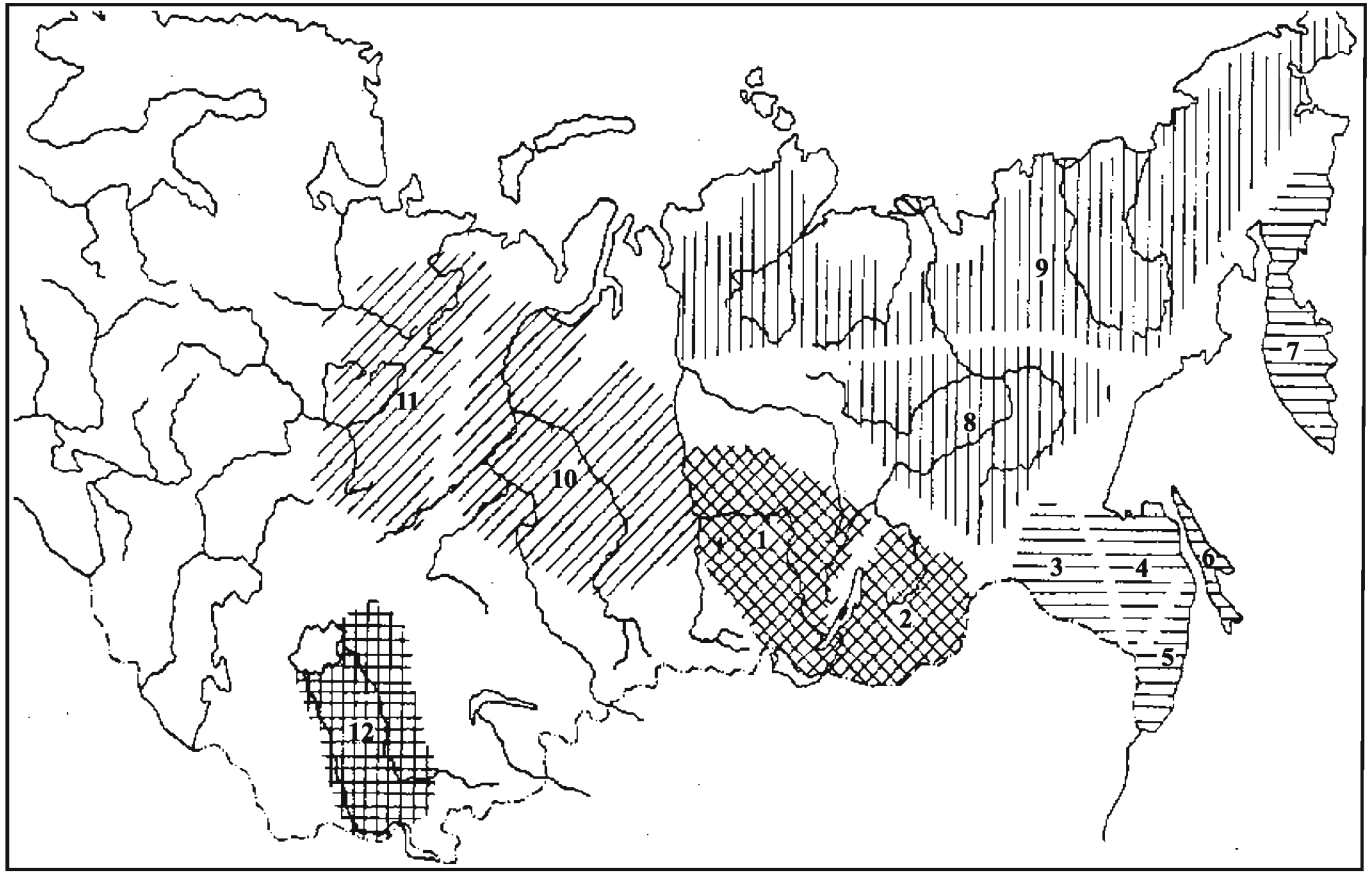


Рис. 10. Неолитические культуры Сибири (по История Сибири. Т. 1. Древняя Сибирь. 1968. С. 95)

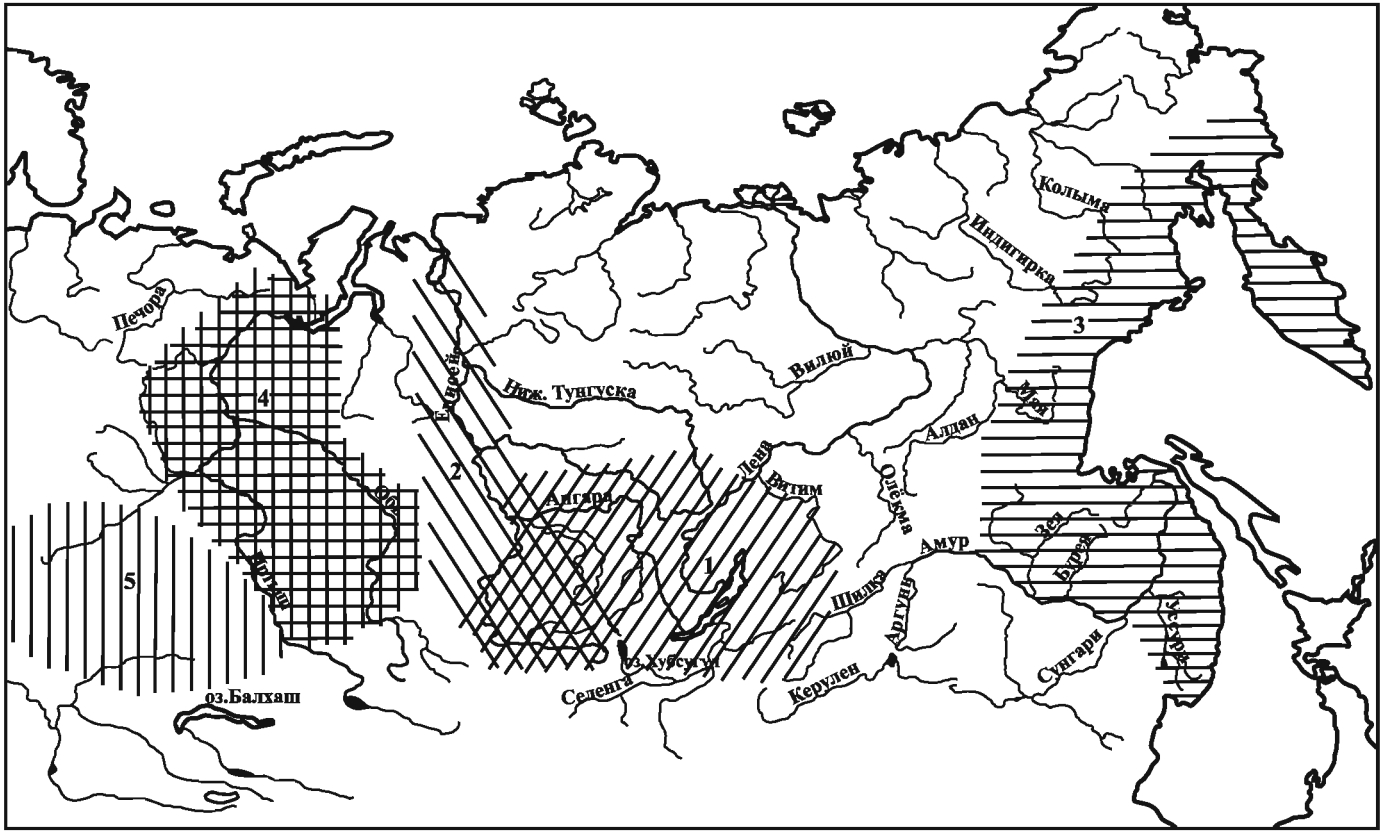


Рис. 11 Ареалы хозяйственно-культурных типов неолита Сибири по Б.Э.Петри (По схеме Н.А.Савельева, 1989)

1 - Байкальская провинция; 2 - Енисейская провинция; 3 - Амурская провинция; 4 - Северо-западная провинция; 5 - Юго-западная провинция

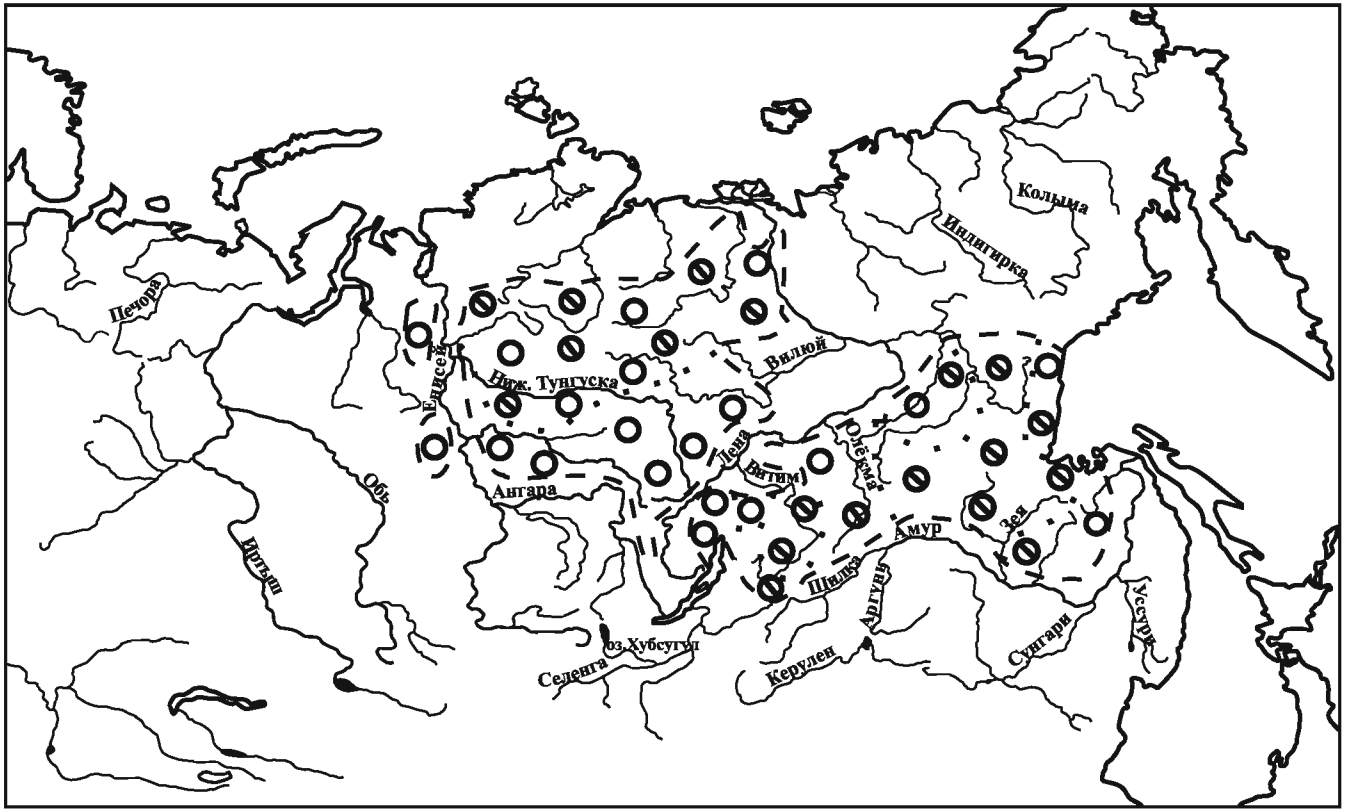


Рис. 12 Расселение и типы оленеводства эвенков в конце XIX - начале XX в. (по Василевич, 1969)

Границы расселения западных и восточных эвенков

Эвенкийский тип оленеводства

Ороченский тип оленеводства

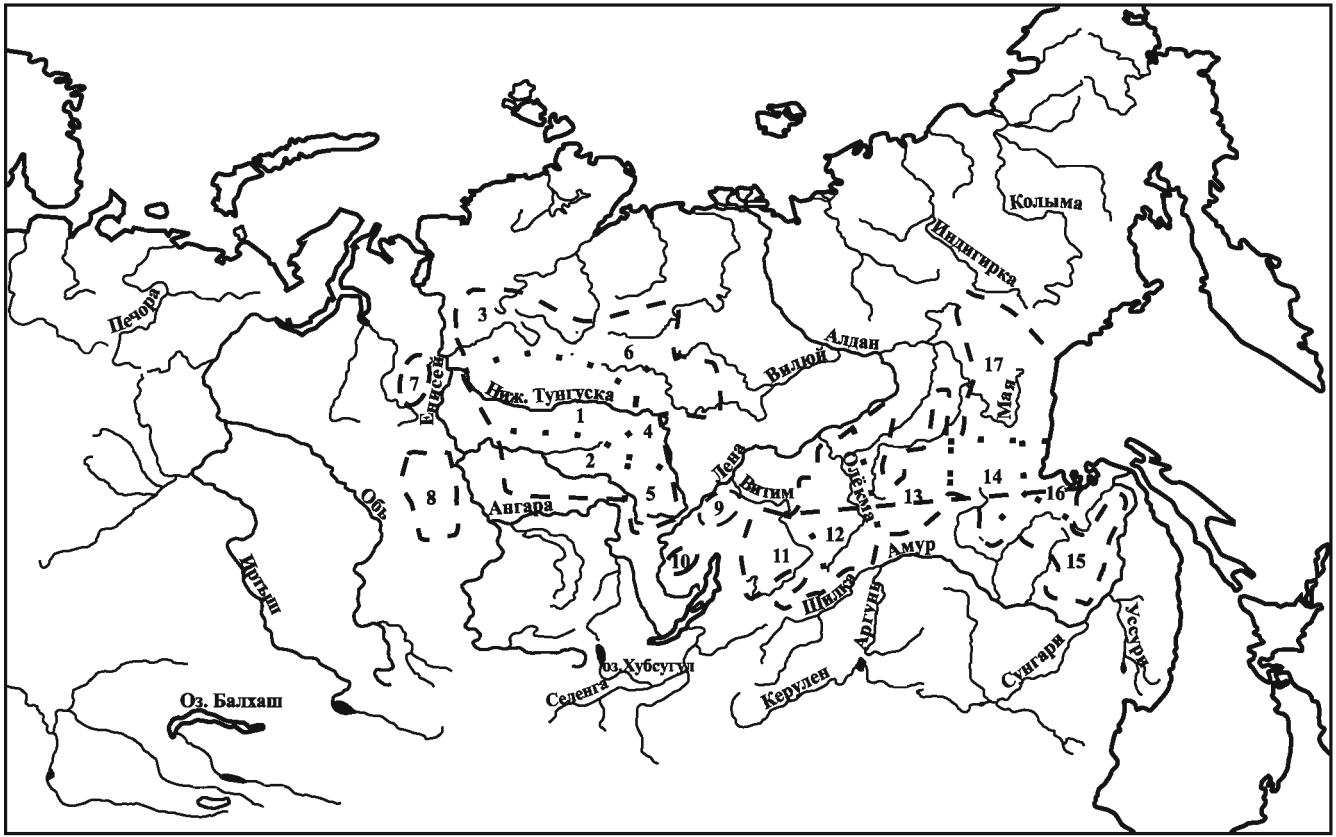


Рис. 13 Локальные этнографические группы эвенков по данным переписей 1950, 1979 гг.

1 - Илимпейская; 2 - Подкаменно-тунгуская; 3 - Ессейско-чирингдинская; 4 - Ербогаченская; 5 - Токминско-непская; 6 - Вилюйская; 7- Сымская; 8 - Кетская; 9 - Киренско-хандинская; 10 - Вершино-тутурская; 11 - Витимо-нерчинская; 12 - Олекминская; 13 - Верхнеалдано-зейская; 14 - Учуро-зейская; 15 - Селемджинско-бурейско-урминская; 16 - Чумиканская; 17 - Аяно-майская

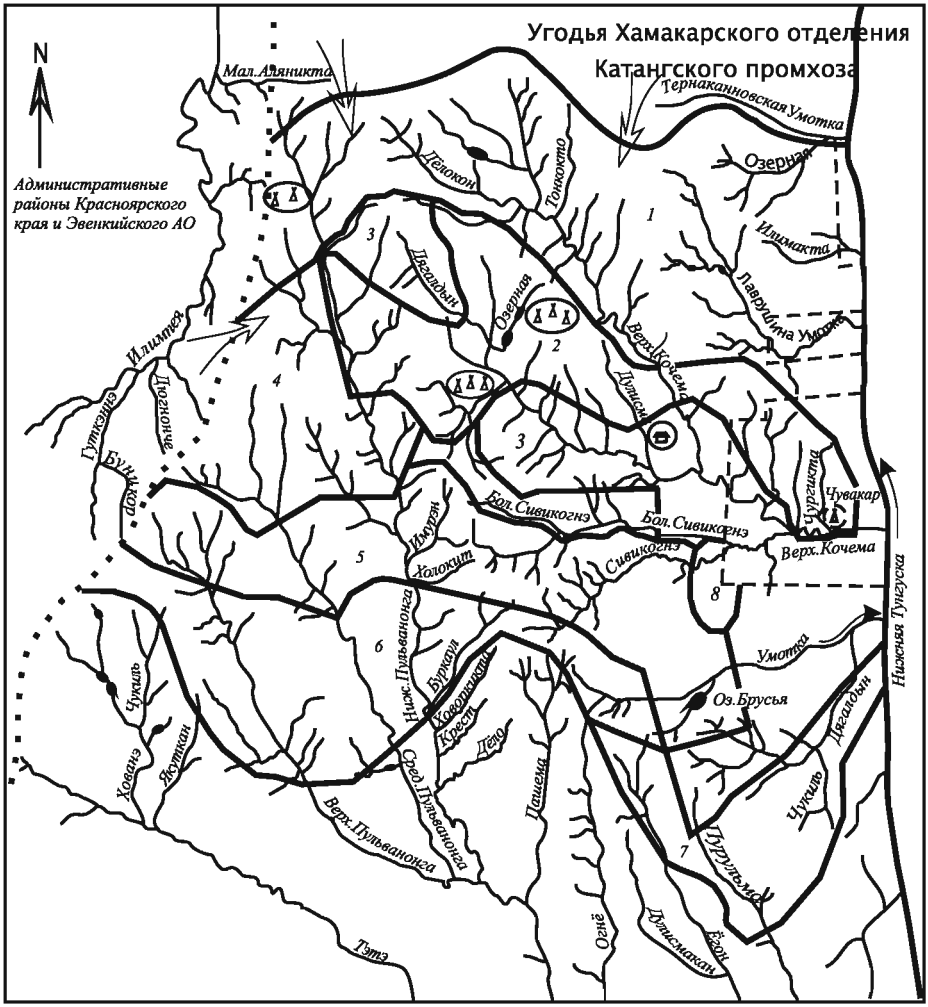


Рис. 14. Карта семейных угодий ербогаченской группы эвенков Катангского района Иркутской области по данным 1991 года

1. - угодья семьи Голиных; 2 - угодья семьи Л.П. Сичогир; 3 - угодья В.П. Сичогир; 4 - угодья А.Я. Веретнова; 5 - угодья Е.Я. Веретнова; 6 - угодья Н.В. Каплина; 7 - угодья П.К. Каплина; 8 - угодья В.Д. Каплина

Сплошные линии - границы угодий эвенков; пунктирные - границы угодий русских старожилов

Заброшенное зимнее стойбище Л.П. Сичогир

Стоянки и стойбища безснежного периода кочевий Л.П. Сичогир

Зимние стационарные стойбища семьи Л.П. Сичогир

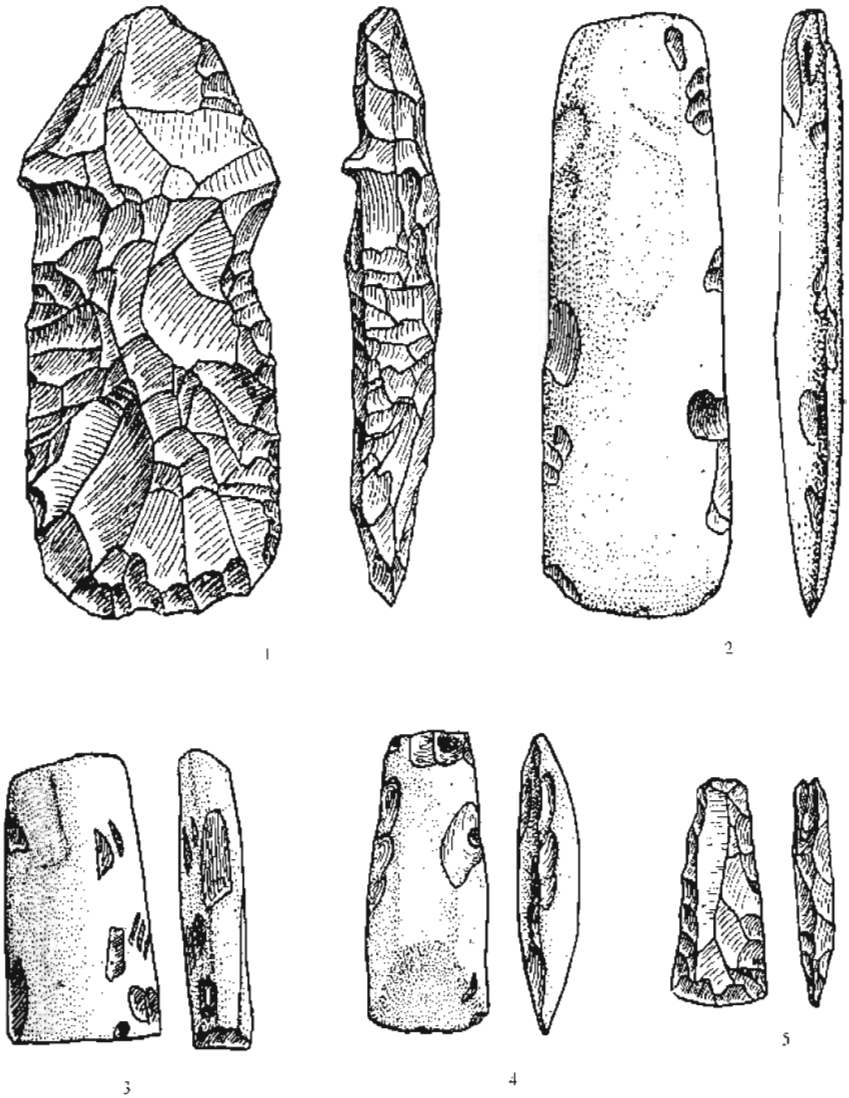


Рис. 15 Эвенкийская коллекция каменных орудий из фондов Омского музея:

1- 4 тесла; 5 - скребок

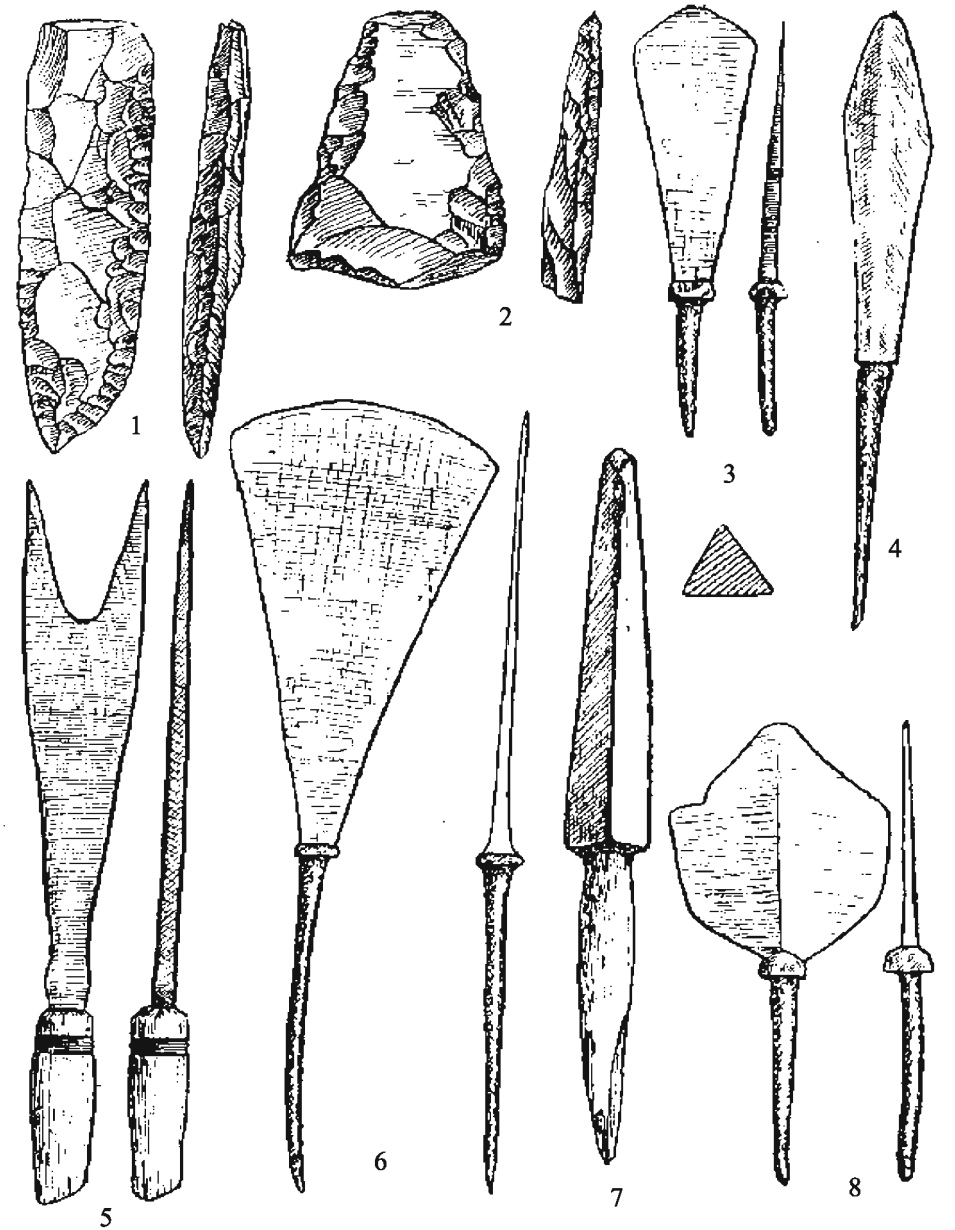


Рис. 16 Эвенкийская коллекция орудий из фондов Омского музея

1 - нож; 2 - скребок; 3-8 - наконечники стрел из металла

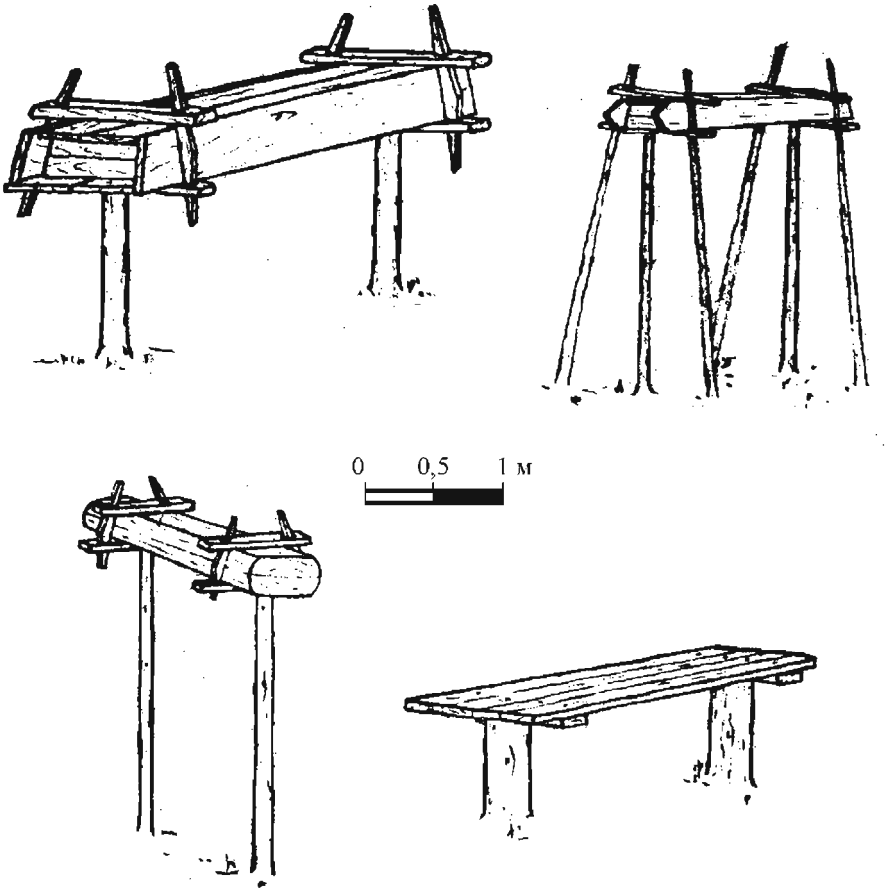


Рис. 17 Воздушные захоронения забайкальских эвенков

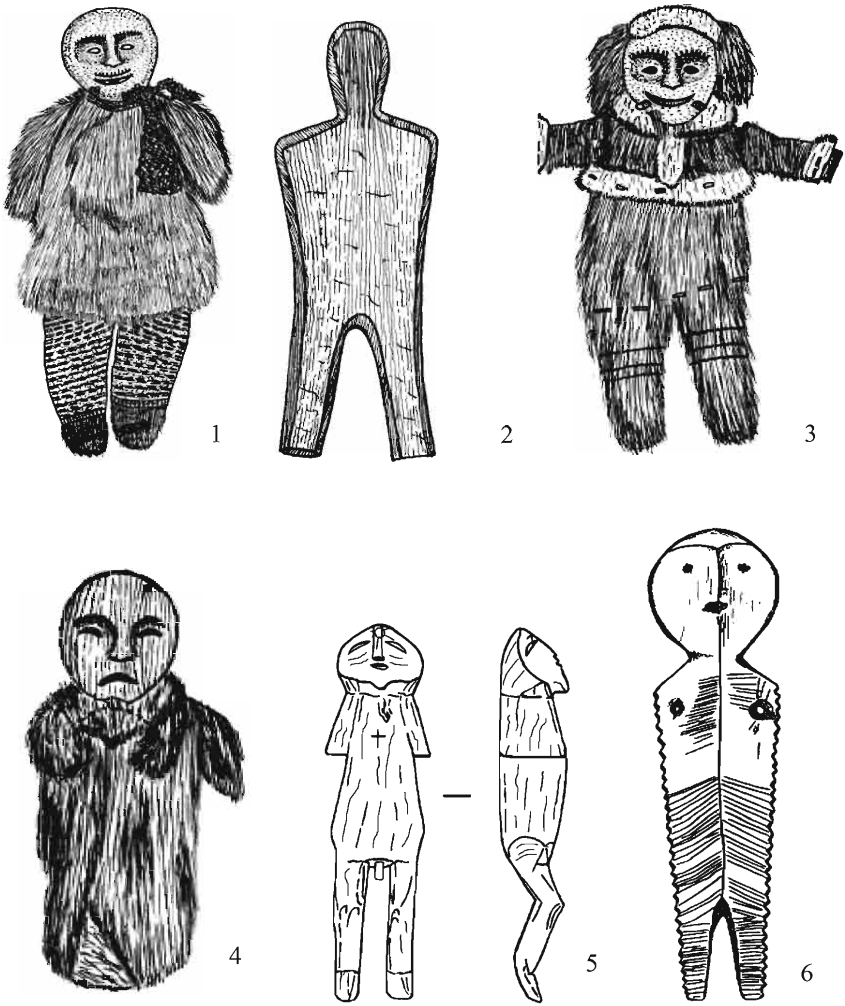


Рис. 18 Антропоморфные изображения (онгоны) Сибири.
1 - изображение духа-помощника шамана (ангарские эвенки);
2-4 - изображение шаманских духов (самодийцы);
5 - охотничий амулет (бэллэй) витимских эвенков;
6 - антропоморфная фигура из кости (китойское погребение)

Фото 1. Олени у колоды с уриной
(осеннее стойбище Л.П.Сычегира. 1993 г.)

Фото 2. Женская ездовая нарта
(ербогоченская группа эвенков, зима 2005 г.)

Фото 3. Грузовая нарта ербогоченских эвенков. Фотография сделана на зимнем стойбище эвенка Л.П. Сичогира

Список сокращений

БСЭ – Большая Советская Энциклопедия

ВА – Вопросы антропологии

ВРГО – Весмтник русского географического общества

ВСОИРГО – Восточно-Сибирский отдел императорского русского географического общества

ВЯ – Вопросы языкознания

Изв. ГАИМК – Известия государственной академии истории материальной культуры

КСИИМК – Краткие сообщения института истории материальной культуры

МИА – Материалы исследований по археологии

МКАЭН – Международный конгресс антропологических и этнографических наук

СА – Советская археология

СЭ – Советская этнография

ТИЭ – Труды института этнографии

ОИРЭФА – Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии

РАНИОН – Российская ассоциация научно исследовательских институтов общественных наук

Список литературы

Абрамян Л. Материалы дискуссии «Современные тенденции в антропологических исследованиях» // Форум. - СПб., 2004. № 1.

Аврорин В. А. Противопоставление категорий «лица» и «вещи» в тунгусо-маньчжурских языках // Народы и языки Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 5-16.

Алексеев А. Н. Древняя Якутия: неолит и эпоха бронзы. – Новосибирск: Наука, 1996 а.

Алексеев А. Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. –Новосибирск: Наука, 1996 б.

Алексеев В. П. Антропологические данные и происхождение народов СССР // Расы и народы. 1973. Вып. 3. – С. 43-66.

Алексеев В. П. Историческая антропология. – М.: Наука. 1979.

Алексеев В. П. Материалы по краниологии мохэ // Палеоантропология Сибири. – М.: Наука, 1980. – С. 106-130.

Алексеев В. П. Этногенез. – М., Высшая школа, 1986.

Алексеев В. П. О характере этногенетических процессов на территории Сибири в свете антропологических данных // Историческая антропология и этногенез. – М.: Наука, 1989. – С. 414-420.

Алексеев В. П. Очерки экологии человека. – М.: Наука, 1993.

Алексеев В. П. Человек: биология и социологические проблемы // Очерки экологии человека. – М.: Наука, 1993.

Алексеев В. П., **Бромлей Ю. В.** К изучению роли переселений народов в формировании новых этнических общностей // СЭ. 1968. № 2. – С. 35-45.

Алексеев В. П., **Гохман И. И**. Антропология азиатской части СССР. – М.: Наука, 1984 а.

Алексеев В. П., **Трубникова О. Б.** Некоторые проблемы таксономии и генеалогии азиатских монголоидов (краниометрия). – М.: Наука, 1984.

Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск: Наука, 1992.

Алексеенко Е. А. Культ медведя у кетов // СЭ. 1960. № 4. - С. 90-104.

Алексеенко Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки. – Л.: Наука, 1967.

Андреев Н. Д. Ранне-индоевропейский праязык. – М.: Наука, 1986.

Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. – Новосибирск: Наука, 1997.

Анисимов А. Ф. Представления о душе и проблема происхождения анимизма // ТИЭ. 1951. Т. XIV.

Анисимов А. Ф. Религия эвенков в историко-гентическомизучении и проблема происхождения первобытных верований. – М. – Л.: Наука, 1958.

Арутюнов С. А. Этнические общности доклассовой эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М.: Наука, 1982. – С. 55-82.

Арутюнов С. А. Классификационное пространство этнической типологии // СЭ. 1986. № 4. - С. 58-64.

Арутюнов С. А. Народы и культуры. Взаимодействие и развитие. – М.: Наука, 1989.

Арутюнов С. А., **Хазанов А. М.** Археологические культуры и хозяйственно-культурные типы: проблема соотношений // Проблемы типологии в этнографии. – М.: Наука, 1979. – С. 140-146.

Асеев И. В., **Кириллов И. И., Ковычев Е. В.** Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья (по материалам погребений). – Новосибирск: Наука, 1984.

Археологические микрорайоны Западной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. – Омск, 1996.

Базалийский В. И. К проблеме хронологической и пространственной интерпретации погребений раннего неолита на территории Байкальской Сибири // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий (Материалы международного симпозиума). Т.2. – Новосибирск, 1998. – С. 10-18.

Балуева Т. С. Краниологический материал неолитического слоя пещеры

Чертовы ворота (Приморье) // ВА. – М., 1978. Вып. 58.

Беккер Э. Г., Ким А. А., Осипова О. А. Гипотеза об общих истоках показателей посессивности в уральских языках и согласных основообразующих формантах в индоевропейских языках // Урало-алтаистика. Археология. Этнография. Язык. – Новосибирск: Наука, 1985.

Березницкий С. В. К проблеме этнокультурных параллелей бохайцев и современных тунгусо-маньчжуров // Древняя и средневековая история Восточной Азии. К 1300-летию образования государства Бохай. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – С. 372-378.

Березницкий С. В. Трансформация культурного комплекса у селемджинских эвенков //Этнос и культура в условиях общественных трансформаций. – Владивосток, Дальнаука, 2004. – С. 37-55.

Берндт Р. М., Берндт К. К. Мир первых австралийцев. – М.: Наука. 1981.

Берштамм А. И. Заметки по этногенезу народов Северной Азии // СЭ. 1947. № 2.

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Чч. I-III. (изд. 2-е). – М.-Л., Наука, 1950-1953.

Болдырев Б. В. Словообразование имен существительных посредством формообразующих суффиксов // Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 56-60.

Болдырев Б. В. Русско-эвенкийский словарь. – Новосибирск: Наука, 1994.

Бромлей Ю. В. К характеристике понятия этнос // Расы и народы. – М.: Наука, 1971. Вып. 1. – С. 9-33.

Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). – М.: Наука, 1981 а.

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1981 б.

Бромлей Ю. В., Токарев С. А. Этнография //Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М.: Наука, 1988. – С. 21-41.

Бронзовый век Приангарья. Могильник Шумилиха. – Иркутск, 1981.

Бурыкин А. А. Судьба прибайкальской теории этногенеза тунгусов в свете новых археологических и этнографических данных //Интеграция археологических и этнографических исследований. – М. – Омск, 1999. – С. 44-46.

Бутанаев В. Я. Исторические корни хакасского фетишизма // Интегра-ция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. – Омск - СПб, 1998.

Вайнштейн С. И. К вопросу об этногенезе кетов // КСИЭ. 1953. Вып. XIII.

Вайнштейн С. И. К вопросу о Саянском типе оленеводства и его возникновении // КСИЭ. 1960. Вып. XXXIV.

Вайнштейн С. И. Проблема происхождения оленеводства в Евразии. Ч.1. // СЭ. 1970. № 6. – С. 3-14.

Вайнштейн С. И. Проблема происхождения оленеводства в Евразии. Ч.2. // СЭ. 1971. № 5. – С. 37-52.

Вайнштейн С. И. Проблема происхождения Саянских оленеводов (проблема этногенеза тувинцев-тоджинцев и тофаларов) // Этногенез народов Севера. – М.: Наука.1980. - С. 68-88.

Василевич Г. М. Материалы языка к проблеме этногенеза тунгусов // КСИЭ. 1946.

Василевич Г. М. К вопросу о палеоазиатах Сибири // КСИЭ. 1949а. Вып. VIII.

Василевич Г. М. К вопросу о киданях и тунгусах // СЭ. 1949 б. № 1. - С. 157-160.

Василевич Г. М. К вопросу о классификации тунгусо-маньчжурских языков // ВЯ. 1960. № 2.

Василевич Г. М. Исторический фольклор эвенков. Героические сказания и родовые предания. – М. – Л.: Наука, 1966.

Василевич Г. М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII – начало XX в.). – Л.: Наука, 1969.

Василевич Г.М. Материалы языка, фольклора и этнографии к проблеме этногенеза тунгусов (рукопись) / Архив Лен. части ИЭ АН СССР. Ф. К. 1., оп. 1. ед. хранения № 676, 677.

Василевич Г. М. О культе медведя у эвенков // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX –начале XX в. – Л.: Наука. 1971. - С. 150-169.

Василевич Г. М. Некоторые вопросы племени и рода у эвенков // Охотники, собиратели, рыболовы. – Л.: Наука. 1972. – С. 160-171.

Василевич Г. М. Антропонимы и этнонимы у народов уральской и алтайской языковых семей, расселенных в Сибири (опыт картографирования) // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. – Л.: Наука. 1974. – С. 296-302.

Василевич Г. М. От редакции // Романова А.В., Мырева А.Н., Барашков П.П. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков. – Л.: Наука. 1975. - С. 3-8.

Василевич Г. М., Левин М. Г. Типы оленеводства и их происхождение // СЭ. № 1. 1951. – С. 63-87.

Васильевский Р. С. Хозяйственно-культурные типы в археологическом контексте (к вопросу об археолого-этнографических реконструкциях в Северной Азии) // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. - Омск – СПб., 1998. – С. 36-38.

Васильев Б. А. Медвежий праздник // СЭ. 1948. № 4. - С. 78-104.

Васильев В. И. Основные этапы формирования северосамодийских народов и проблемы их картографирования // Народы и языки Сибири. Ареальные исследования. – М.: Наука, 1978.

Васильев В. И. Проблемы формирования северо-самодийских народностей. – М.: Наука, 1979.

Васильев В. И. Проблемы этногенеза северосамодийских народов (ненцы, энцы, нганасаны) // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980. С. 41-67.

Ветров В. М., Задонин О. В., Инешин Е. М. Многослойное местонахож-

дение Нижняя Джилинда (Сивакон) – I в Бамбуйской котловине // Культуры и памятники эпохи камня и раннего железа Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1993.

Викторова Л. Л. Монголы. Происхождение народа и культуры. – М.: Наука, 1980.

Викторова Л. Л. К проблеме формирования монгольского ареала в системе алтайских языков // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. – Л.: Наука, 1983.

Витковский Н. И. Следы каменного века в долине Ангары // Изв. ВСОРГО. 1889. Т. XIX. № 1. – С. 1-42. Т. XX. № 2. – С. 1-31.

Витсен Н. К. Северная и восточная Татария (в переводе В.Г.Триссман) // Архив Кункскамеры им. Петра Великого [Лен. часть ИЭ АН СССР] - Фонд КУ. Оп. 1., д. 142.

Вишаренко В. С. Культурные традиции как экологическая адаптпация // Эволюционная и историческая антропоэкология. – М.: Наука, 1994. – С. 183-190.

Воевода М. И., Ситникова В. В., Ромащенко А. Г. Расово- и этноспецифические особенности мтДНК представителей пазырыкской культуры Горного Алтая // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Наука, 2000. - С. 224-230.

Воробьев М. В. Культура чжурчженей и государство Цзинь. – М.: Наука, 1983.

Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии. (У истоков формирования марксистских основ советской археологии: 20 – первая половина 30 годов). – Киев, 1982.

Генинг В. Ф. Археологическая культура - социально-исторический организм – центральная категория познания археологии // Исследование социально-исторических проблем в археологии. – Киев, Наукова думка, 1987. – С. 6-35.

Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежды и

прочих достопамятностей. Ч. III. - СПб, 1799.
Головнев А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. – Екатеринбург, 1995.
Юкагиры (историко-этнографический очерк). – Новосибирск: Наука, 1975.
Гоголев А. И. Якуты (проблема этногенеза и формирования культуры). – Якутск, 1993.
Гончарова Н. Н. Этногенетические связи народов Северной Азии по данным молекулярной гибридизации ДНК // ВА. 1998. Вып. 4. - С. 136-148.
Горцевская В. А. Словарные особенности подкаменно-тунгусских говоров эвенкийского языка // Уч. зап. Лен. пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1954. Т. 101.
Горюнова О. И. Серовские погребения Приольхонья. – Новосибирск: Наука, 1997.
Горюнова О. И. Древние могильники Прибайкалья (неолит – бронзовый век). – Иркутск. 2002.
Гохман И. И. Антропологические аспекты кетской проблемы. Результаты антропометрических и краниологических исследований // Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. – Л.: Наука, 1982. – С. 9-42.
Грачева Г. Н. Народные названия, связанные с погребениями и погребальными сооружениями (по материалам Западной Сибири) // Этническая история народов Азии. – М.: Наука. 1972. – С. 38-51.
Грачева Г. Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX – начала XX в.) – Л.: Наука, 1983.
Григорьев Г. П. Восстановление общественного строя палеолитических охотников и собирателей // Охотники, собиратели, рыболовы. Проблемы социально-экономических отношений в доземледельческом обществе. – Л.: Наука. 1972, – С. 11-25.
Гришин Ю. С. О роли и месте забайкальского центра медно-бронзовой металлургии в эпоху бронзы и раннего железа // По следам древних куль-

тур Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 101-107.

Гурвич И. С. Изучение этногенеза народов Севера в советский период (состояние проблемы, задачи и перспективы) // Этногенез и этническая история народов Севера. – М.: Наука, 1975. – С. 5-42.

Гурвич И. С. Культура северных якутов – оленеводов. – М.: Наука, 1977.

Гурвич И. С. К вопросу о картографировании элементов духовной культуры народов Сибири // Народы и языки Сибири. Ареальные исследования. – М.: Наука, 1978. - С. 15-22.

Гурвич И. С. Предисловие // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980. – С. 3-10.

Гурвич И. С., Долгих Б. О., Туголуков В. А. Рецензия на монографию: Василевич Г.М. Эвенки // СЭ. 1971. № 1. – С. 166-168.

Гурвич И. С., Симченко Ю. Б. Этногенез юкагиров // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980. - С. 141-151.

Гурвич И. С. Проблемы происхождения чукчей, коряков и ительменов // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980. - С. 211-226.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. – М., 1994.

Дебец Г. Ф. Антропологический состав Прибайкалья в эпоху позднего неолита // Русский антропологический журнал. 1930. Вып. 1-2. Т. 19.

Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР // ТИЭ.– М., 1948. Т. 4.

Дебец Г. Ф., Левин М. Г., Трофимова Т. А. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза // СЭ. 1952. № 3.

Дебец Г. Ф. Древний череп из Якутии // КСИЭ. 1956. Вып. XXV.

Дебец Г. Ф. Этническая антропология в работах русских антропологов конца XIX – начала XX в. (Петербургская и московская школы) // ОИРЭФА.– М., 1971. Вып. V.

Дебец Г. Ф. Палеоантропология древних эскимосов (Ипиутак, Тигара) // Этнические связи народов Севера Азии и Америки по данным антропологии. – М.: Наука, 1986. – С. 6-148.

Деревянко А. П. Громатухинская культура // Сибирь и ее соседи в древности. – Новосибирск: Наука.,. 1970. – С. 195-209.

Деревянко А.П. Приамурье (I тысячелетие до нашей эры). – Новосибирск, Наука, 1976

Деревянко Е. И. Мохэсские памятники среднего Амура. – Новосибирск: Наука, 1975.

Долгих Б. О. О похоронном обряде кетов // СА. 1963. № 3.

Долгих Б. О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. – М.: Наука, 1970.

Долгопольский А. Б. Гипотеза древнейшего языкового родства языков Северной Азии // VII МКАЭН. – М., 1964.

Долгопольский А. Б. Какие языки родственны европейским // Наука и человечество. - М.: Наука, 1971. - С. 106-119.

Дульзон А. П. Кетский язык. – Томск, 1968.

Дыбо В. А. Язык – этнос - археологическая культура. (Несколько мысле по поводу индоевропейской проблемы) // Язык, культура, этнос. – М.: Наука, 1994. - С. 39-51.

Дыбо А. В. Семантические реконструкции в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). – М.: Наука, 1996. - С. 4.

Дьяченко В. И., Ермолова Н. В. Эвенки и якуты юга Дальнего Востока XVII – XX вв. – СПб.: Наука, 1994.

Ермолова Н. В. Эвенки: проблема этнических различий и локальных групп // Этносы и этнические процессы. – М.: Наука, 1993.

Ермолова Н. В. О возможных археологических параллелях к обычаю татуировки у эвенков // Интеграция археологических и этнографических источников. Материалы VI междунар. семинара. Ч.1. - Омск – СПб., 1998. – С. 67-69.

Захарук Ю. Н. К вопросу о предмете и процедуре археологического исследования // Предмет и объект в археологии и вопросы методики археологического исследования. – Л.: Наука, 1975.

Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов // Труды Института антропологии, археологии и этнографии. Этнографическая серия. Вып. 3. – М. – Л., 1936.

Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в. – Иркутск, 1968.

Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. – Хабаровск, 1939.

Золотарева И. М. Юкагиры (антропологический очерк) // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М.: Наука, 1968.

Иванов В. В. О предполагаемых соотношениях между восточно-ностратическими и западно-ностратическими языками // Урало-алтаистика. Археология. Этнография. Язык. – Новосибирск: Наука, 1985. - С. 147-150.

Иванов В. И. Генотип // БСЭ.– М., 1971. Т. 6.

Иванов В. Н. Русские ученые о народах северо-востока Азии. (XVII – начало XX в.). – Якутск, 1978.

Ивашина Л. Г. Неолит и энеолит лесостепной зоны Бурятии. – Новосибирск: Наука, 1979.

Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидский, алтайский). – М.: Наука, 1971.

Интеграция Археологических и этнографических исследований. Чч. 1, 2.- Омск, 1995.

Интеграция Археологических и этнографических исследований. -Новосибирск – Омск, 1996.

Интеграция Археологических и этнографических исследований. - Омск – Уфа, 1997.

Интеграция Археологических и этнографических исследований. - Омск – СПб., 1998.

История Сибири. Т.1. Древняя Сибирь. – Л.: Наука, 1968.

Итс Р. Ф. Этногенетические исследования. (О значении различных источников в рамках комплексного подхода) // Расы и народы. 1978. Вып. 17.

Иохельсон В. И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. – Новосибирск: Наука, 2005. – С. 11-28.

Кабо В. Р. Теоретические проблемы реконструкции первобытности // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. – М.: Наука, 1979. – С. 60-108.

Карцелли С. Карагасский олень и его хозяйственное значение // Северная Азия. 1925. Кн. 3.

Кириллов И.И. Ундугунская культура железного века в Восточном Забайкалье // По следам древних культур Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1983. - С. 123-138.

Кириллов И. И., Ковычев Е. В., Кириллов О. И. Дарасунский комплекс памятников. Восточное Забайкалье. – Новосибирск: Наука, 2000.

Клейн С. Л. Археология и этнография: проблема сопоставлений // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. - Омск – СПб. 1998. – С. 97-120.

Клейн Л.С. Теории в археологии // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 30-39.

Клейн Л.С. Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-экономических и антропологических науках // Понятие типа в современной археологии. – Л.: Наука, 1979. – С. 50-74.

Клейн Л. С. Археологическая типология. – Л.: Наука, 1991.

Клейн С. Л. Глубина археологического факта и проблема реконверсии (электронный вариант) // www.ant.md/school/has/projects.htm

Козлов В.И. Проблема этнического самосознания и её место в теории этноса // СЭ. 1974, № 3. - С. 79-92.

Козлов В.И. О классификации этнических общностей (состояние вопроса) // Исследования по общей этнографии. – М.: Наука, 1979. – С. 5-23.

Колесникова В. Д. Названия частей тела в алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л.: Наука, 1972 а. - С. 71-103.

Колесникова В. Д. К характеристике частей тела человека тунгусо-маньчжурских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских

языков. Л.: Наука, 1972 б. - С. 257-336.

Константинов И. В. Ранний железный век Якутии. – Новосибирск: Наука, 1978.

Константинова О. А. Тунгусо-маньчжурская лексика, связанная с жилищем // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. - Л.: Наука, 1972. - С. 224-256.

Крюков М. В. Этнографические факты как источник изучения первобытности: проблема стадиальной глубины // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. – М.: Наука, 1979. – С. 43-60.

Крючкова Т. Б. Диалектная дифференциация языка и проблема создания письменности // Язык в контексте общественного развития. – М.: Наука, 1994.

Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-Сахалар. Очерки по древней истории якутов. Т.1. Кн. 2. Ч. 3. – Якутск, 1992.

Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии И Дальнего Востока. – М.: Наука, 1961.

Лашук Л. П. Проблемы становления русской этнографической науки // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. – М.: Наука, 1989.

Лебедева Е. П. О личных аффиксах имен и глаголов в тунгусо-маньчжурских языках // Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск: Наука, 1981. - С. 38-46.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Наука, 1994.

Левин М. Г. Антропологические типы Сибири и Дальнего Востока. (К проблеме этногенеза народов Северной Азии) // СЭ. 1950. № 2.

Левин М. Г. Древний череп с Шилки // КСИЭ. Вып. XVIII. – М., 1953. – С. 69-75.

Левин М. Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. – М.: Наука, 1958.

Левин М. Г О некоторых вопросах этнической антропологии северной Сибири // ВА. Вып. 12. 1962.

Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.). – Магадан, 1983.

Лукина Н. В. Отражение межэтнических связей в терминологии родства хантов // Россия и Восток: археология и этническая история. (Материалы междунар. конф.). – Омск, 1997.

Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. – Новосибирск: Наука, 1988.

Мазин А. И. Древние святилища Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1994.

Майнов И. И. Некоторые данные о тунгусах Якутского края // Труды ВСО ИРГО. – Иркутск, 1898. № 2.

Майр Э. Популяции, виды и эволюция. – М.: Наука, 1974.

Максимов А.Н. Происхождение оленеводства // Уч. зап. РАНИОН. 1928. Т. VI.

Мамонова Н. Н. Древнее население Ангары и Лены в серовское время по данным палеоантропологии (к вопросу о межгрупповых различиях в эпоху неолита) // Палеоантропология Сибири. – М.: Наука, 1980. – С. 64-88.

Мамонова Н. Н., Мовсесян А. А. Территориальная и эпохальная изменчивость населения Прибайкалья по данным о дискретно-варьирующих признаках на черепе // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий (материалы международного симпозиума). Т. 2. – Новосибирск, 1998. – С. 134-147.

Мамонова Н. Н., Сулержицкий Л. Д. Опыт датирования по С14 погребений Прибайкалья эпохи голоцена // СА. 1989. № 1. – С. 8-26.

Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). – М.: Наука, 1983.

Марков Г. Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. – М.: МГУ. 1979.

Марков Г. Е. Проблема сравнительной археологической и этнографической типологии культур // Проблемы типологии в этнографии. – М.: Наука,

1979. – С. 147-157.

Марков Г. Е. Сравнительная типология археологических и этнологических культур // Интеграция археологических и этнографических исследований. - М. - Омск, 1999. – С. 35-38.

Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и Восток Сибири. Ч. 1, 2. – СПб., 1860-1869.

Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. – М. – Л., 1937.

Мовсесян А. А. Некоторые аспекты популяционной генетики современного и древнего населения Сибири // ВА. 1973. Вып. 45. – С. 77-84.

Могильников В. А. К этнокультурной интерпретации древностей степи и лесостепи Западной Сибири эпохи раннего средневековья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 2. – Омск – СПб, 1998. – С. 21-24.

Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком северо-восточной Азии. – Новосибирск: Наука, 1980.

Муратов С. Н. Некоторые наименования сухопутных средств передвижения и их деталей в алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. - Л.: Наука, 1972. - С. 337-352.

Напольских В. В. Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении земли // Мировоззрение финно-угорских народов. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 5-21.

Народы России. Энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия. 1994.

Народы Севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986.

Наумова О. Ю., Рычков С. Ю., Базалийский В. И., Мамонова Н. Н., Сулержицкий Л. Д., Рычков Ю. Г. Молекулярно-генетическая характеристика неолитических популяций Прибайкалья. Анализ ПДРФ древней мтДНК из костных остатков в могильнике Усть-Ида I // Генети-ка. 1997. Т. 33. №10. – С. 1418-1424.

Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996.

Неолит Юга Дальнего Востока. Древнее поселение в пещере Чортовы Ворота. – М.: Наука, 1991.

Нерознак В. П. О понятии лингвокультурная общность // Евразия на перекрестке языков и культур. Проблемы сравнительной лингвокультурологии. (Ежегодные междунар. чтения памяти Н.С. Трубецкого). – М., 2000.

Никонов В. А. Проблемы ономастических ареалов // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1974. – С. 284-289.

Никонов В. А. Фоностатистические спектры языков Сибири // Народы и языки Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. - С. 26-34.

Нимаев Д. Д. Древние тюрки и монголы: проблема этнокультурного взаимодействия (тезисы доклада) // 100 лет гуннской археологии. Нома-дизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической пер-спективе. – Улан-Удэ, 1996.

Нитобург Э. Л. Русские в США. История и судьбы. 1870-1970. Этноисторический очерк. – М.: Наука, 2005.

Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. – М.: Наука, 1984.

Новикова К. А. Иноязычные элементы в тунгусо-маньчжурской лексике, относящиеся к животному миру // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. – Л.: Наука, 1972.

Новикова К. А. Лексика эвенского языка // Народы и языки Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 125-135.

Овчинников И. В., Друзина Е. Б., Овчинникова О. И., Козельцев В. Л., Ребров Л. Б., Быков В. А. Молекулярно-генетический анализ делеционно-инсерционного полиморфизма региона V мтДНК у мумии из погребального комплекса Ак-Алаха 3 // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Наука, 2000. - С. 222-223.

Окладников А.П. Неолитические памятники как источник по этногонии Сибири и Дальнего Востока // КСИИМК. 1941. Вып. 9.

Окладников А. П. К изучению начальных этапов формирования народов Сибири (население Прибайкалья в неолите и раннем бронзовом веке) //

СЭ. 1950 а. № 2. – С. 36-52.

Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья: историко-археологическое исследование. Чч. 1-2 // МИА. - М. – Л.: Наука, 1950 б. № 18.

Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья // МИА. Вып. 43. – М.: Наука. 1955.

Окладников А. П. Племена Сибири и Дальнего Востока // Очерки истории СССР: первобытно-общинный строй и древнейшие государства на территории СССР. – М.: Наука, 1956.

Окладников А. П. Тунгусо-маньчжурская проблема и археология // История СССР. 1968. № 6.

Окладников А. П. Этногенез и культурогенез // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока (тез. конференции). – Новосибирск, 1973.

Орлов П. Баунтовские и ангарские бродячие тунгусы // ВРГО. 1857. Ч. 21. отд. 2. №. 6.

Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. VII // Труды ИЭ АН СССР. Нов. серия. Т. 104. – Л., 1977.

Певнов А. А. Глоттохронология и тунгусо-маньчжурская проблема // Археология и этнография народов Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 1984. – С. 31-37.

Пежемский Д. В., Рыкушина Г. В. Человек из Нижней Джилинды (предварительное сообщение) // Вестник антропологии. – М., 1998. С. 115-135.

Першиц А. И. Этнографические источники // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – С. 36-53.

Полевой Б. П. Забытый источник по этнографии Сибири XVII в. (о сочинениях Адама Каменского-Длужика) // СЭ. 1965. № 5. –С. 122-130.

Посух О. Л., Кашинская Ю. О., Осипова Л. П., Казаковцева М. А., Табиханова Л. Э. Генетические характеристики и этногенез кетов и южных алтайцев // Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез.

(Материалы международного симпозиума). – Улан-Удэ. 1999.

Равдоникас В. И. За марксистскую историю материальной культуры // Изв. ГАИМК. 1930. Вып. 3-4, Т. 7.

Рассадин В. И. К сравнительнму изучению анималистической лексики бурятского языка // Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 97-120.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т.1. чч. 1-2. – М.-Л.: Наука, 1952.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. – М.: Наука, 1978.

Розов Н.С. Антропологические исследования коренного населения Западной Сибири // ВА. 1961. Вып. 6.

Романова А. В., Мыреева А. Н., Барашков П. П. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков. – Л.: Наука, 1975.

Рычков С. Ю. Полиморфизм митохондриальной ДНК в населении Прибайкалья эпохи неолита. (автореферат дисс.) – М., 2004.

Рычков Ю. Г. Материалы по антропологии западных тунгусов // Труды ИЭ АН СССР. – М., 1961. Вып. III, Т. XXI.

Рычков Ю. Г. Система древних изолятов человека в Северной Азии в свете проблем стабильности популяций. Поиски и решения на пути популяционной генетики // ВА. 1973. Вып. 44. – С. 3-22.

Рычков Ю. Г., Таусик Н. Е., Таусик Т. Н., Жукова О. В., Бородина С. Р., Шереметьева В. А. Генетика и антропология таежных охотников-оленеводов Сибири. (Эвенки Средней Сибири). Сообщение 1. Родовая структура, субъизоляты и инбридинг в эвенкийской популяции // ВА. 1974 а. Вып. 47. - С. 3-26.

Рычков Ю. Г., Таусик Н. Е., Таусик Т. Н., Жукова О. В., Бородина С. Р. Сообщение 2. Эффективный размер, временная и пространственная структура популяции и интенсивность миграции генов // ВА. 1974 б. Вып. 48. - С. 3-17.

Рычков Ю. Г., Таусик Н. Е., Таусик Т. Н., Жукова О. В., Бородина С. Р. Сообщение 3. Генетические маркеры и генетическая дифференциа-ция в популяции эвенков Средней Сибири // ВА. 1976. Вып. 53. - С. 38-56.

Рычков Ю. Г., Балановская Е. В. Генетический ключ к эволюционной и исторической антропологии // Эволюционная и историческая антропоэкология. – М.: Наука, 1999. – С. 153-171.

Рычков Ю. Г., Ящук Е. В. Генетика и этногенез. Историческая упорядоченность генетической дифференциации популяций человека (модель и реальность) // ВА. 1985. Вып. 75. – С. 97-116.

Рычков Ю. Г., Ящук Е. В. Генетическая память об этногенезе // Этнические связи народов Севера Азии и Америки по данным антропологии. М.: Наука, 1986. – С. 149-166.

Сабурова Л. М. Русское географическое общество и этнографические исследования (дореволюционный период) // Очерки русской этнографии, фольклористики и антропологии.– Л.: Наука. 1977. Вып. VII.

Савельев Н. А. Неолит Юга Средней Сибири. История основных идей и современное состояние проблемы. (рукопись диссертации) / Библиотека каф. археологии, этнологии, истории древнего мира ИГУ. Ед. хран. № АЛ 7893. – Иркутск, 1989.

Савинов Д. Г. Археолого-этнографический комплекс Торгажак (эпоха поздней бронзы) // Интеграция археологических и этнографических исследований. - Омск – СПб., 1998. – С. 54-57.

Сагалаев А. М., Октябрьская И. В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. – Новосибирск: Наука, 1990.

Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору (сост. Василевич Г.М.). – Л.: Наука, 1936.

Семенов Ю.И. О методике реконструкции развития первобытного общества по данным этнографии // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. – М.: Наука. 1979. – С. 108-126.

Серебренников Б.А. О некоторых гидронимических загадках Прибайкалья // Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 162-168.

Серебренников Б. А. Проблема достаточности основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков // Теоретические основы класси-

фикации языков мира. Проблемы родства. – М.: Наука, 1982. – С. 6-62.
Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. – М.: Наука, 1993.
Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленя Северной Евразии. – М.: Наука, 1976.
Симченко Ю. Б. Ранние этапы этногенеза народов уральской языковой семьи Заполярья и Приполярья Евразии // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980, - С. 11-27.
Смоляк А. В., Соколова З. П. Рецензия на монографию: Василевич Г.М. Эвенки // СЭ. 1971 № 1.
Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. 1989.
Соколова З. П. Пережитки религиозных верований у обских угров // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX –начале XX в. – Л.: Наука, 1971. - С. 211-238.
Сосновский В. И. Сянбийцы – эвенки. Этюд по туземной топонимике Сибири // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1929.
Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков Т. 1. – Л.: Наука, 1975; Т.2. – Л.: Наука, 1977.
Старостин С. А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. – М.: Наука, 1991.
Суник О. П. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках (в сравнении с другими алтайскими языками). – Л.: Наука, 1982.
Таксами Ч. М. Проблемы этногенеза нивхов // Этногенез народов Севера. - М.: Наука, 1980. - С. 203-206.
Талько-Грынцевич Ю. Д. К антропологии тунгусов // Тр. Приамурского отдела РГО. – Кяхта, 1904. Т. VII. Вып. 3.
Титов Е. И. Некоторые данные по культу медведя у Нижнеангарских тунгусов Киндигирского рода // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1923. Кн. 1. - С. 90 – 105.
Титова З. Д. Ранние страницы этнографического изучения Сибири (Днев-

ник путешествия Д.Г. Мессершмидта) // ОИРЭФА. – М.: Наука, 1978. – с. 5-14.

Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. №1. – с. 3-23.

Тишков В. А. Российская этнология: статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты исследований // ЭО. 2003 а. №5. – с. 3-42.

Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука. 2003 б.

Токарев С. А. К постановке проблем этногенеза // СЭ. 1949, № 3. - С. 12-36.

Томилов Н. А. Этноархеология и формирование омского этноархеологического направления // Россия и Восток: Археология и этническая история. – Омск, 1997. – С. 131-142.

Томилов Н. А. Этноархеология как научное направление российской науки // Интеграция археологических и этнографических исследований. – М. – Омск, 1999.

Трофимова Т. А. Еще раз о черепах из Луговского могильника ананьевской культуры // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М.: Наука, 1968.

Туголуков В. А. Следопыты верхом на оленях. – М.: Наука, 1969.

Туголуков В. А. Главнейшие этнонимы тунгусов (эвенков и эвенов) // Этнонимы. – М.: Наука, 1970.

Туголуков В. А. Конные тунгусы: (Этническая история и этногенез) // Этногенез и этническая история народов Севера. – М.: Наука, 1975. – С. 78-110.

Туголуков В. А. Этнические корни тунгусов // Этногенез народов Севера. – М.: Наука, 1980. - С. 152-153.

Туголуков В. А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сиби-ри. – М.: Наука, 1985.

Туголуков В. А. Этногенез и этническая история // История и культура эвенов. – СПб.: Наука, 1997. –С. 13-22.

Туров М. Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в конце XIX – начале XX в. – Иркутск, 1990.

Туров М. Г. К проблеме этногенеза и этнической истории эвенков // ЭО. 1998. № 3. – С. 12-25.

Туров М.Г. Антропогеоценозы Байкальской Сибири в позднем голоцене и проблема истоков культуры подвижных охотников таежной зоны // Сибирь в панораме тысячелетий (материалы международного симпозиума). Т.2. – Новосибирск, 1998. - С. 475-493.

Туров М. Г. Эвенкийский обряд «проводов медведя» как форма организации пространства // Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск: Наука. 2002. № 3 (11). - С. 132-140.

Туров М. Г. Еще раз об исторической прародине и ранних этапах этногенеза тунгусов – эвенков // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации. – Иркутск, 2003. – С. 147-180.

Фасмер Ф. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. – М.: Наука, 1987.

Федосеева С. А. Древние культуры Верхнего Вилюя. (автореф. дисс.) – Новосибирск, 1964.

Федосеева С.А. Ранний железный век Алдана (по материалам стоянки Белькачи I и Дюктайской пещеры) // По следам древних культур Яку-тии. – Якутск, 1970. – С. 143-154.

Федосеева С.А. Усть-Мильская культура эпохи бронзы Якутии // Древняя история народов Юга Восточной Сибири. – Иркутск, 1974.

Харрисон Дж. Генетика человека // Биология человека. – М.: Наука, 1979. – С. 129-288.

Хелимский Е.А. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликации // Урало-алтаистика. (Археология. Этнография. Язык). – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 206-213.

Цидендамбаев Ц.Б. Заметки об этнических и языковых контактах бу-рят и эвенков // Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 70-92.

Цинциус В.И. К этимологии алтайских терминов родства // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л.: Наука, 1972. - С. 15-70.

Цинциус В.И. Центральные и маргинальные фонетические ареалы Приамурья и Приморья // Народы и языки Сибири. – М.: Наука, 1978.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.Н. Народы, расы, культуры. – М.: Наука, 1985.

Черемисина М.И. Исследования сложного предложения в алтайских языках Сибири // Урало-алтаистика. (Археология. Этнография. Язык). – Новосибирск: Наука, 1985. - С. 179-187.

Чернецов В.Н. Этно-культурные ареалы в лесной и субарктической зонах Евразии в эпоху неолита // Проблемы археологии Урала и Сибири. – М.: Наука, 1973. – С. 10-17.

Чистов Ю.В. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры // СЭ. 1972. №3. с. 73-85.

Членова Н.Л. Соотношение культур карасукского типа и кетских топонимов на территории Сибири // Этногенез и этническая история народов Севера. – М.: Наука, 1975. – С. 223-230.

Шавкунов Э.В. Приморье и соседние с ним районы Дунбэя и Северной Кореи в I-III вв. нашей эры // Тр. ДВО СО АН СССР. - Саранск, 1959. Серия историческая. Т. 1.

Шавкунов Э.В. Опыт реконструкции древнейших этнонимов в иероглифической записи // Новейшие археологические открытия на Дальнем Востоке СССР. – Владивосток: Дальнаука, 1976.

Шавкунов Э.В. Культура чжурччженей-удиге XII-XIII ВВ. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. – М.: Наука, 1990.

Шавкунов Э.В. Государство Бохай (698-926 гг.) и племена Дальнего Востока России. / Этнолингвистическая обстановка на Дальнем Востоке накануне образования государства Бохай. – М.: Наука, 1994.

Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменений этнических и этнографических явлений. – Шанхай, 1923.

Шнирельман В.А. Протоэтнос охотников и собирателей (По австралий-

ским данным) // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе – М.: Наука, 1982. – С. 89-90.

Шнирельман В.А. Археологические источники. // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – С. 54-68.

Шнирельман В.А. Керамика как этнический показатель: некоторые вопросы теории в свете археологических данных // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – С. 49-56.

Шренк Л. Об инородцах Амурского края. СПб., 1883.

Яхонтов С.Е. Лексика как признак родства языков // Проблема общности алтайских языков. – Л.: Наука, 1971.

Яхонтов С.Е. Теоретические основы классификации языков мира. – М.: Наука, 1980.

Bazaliiskii V.I. The Neolithic of the Baikal Region of the Basic of Mortuary Materials // Prehistoric Foragers of the Cis-Baikal, Siberia. - Edmonton: Canadian Circupolar Institute Press. 2003. P. 37-50.

Mooder K.P., Scyurr T.G., Bamfor T.H., Bazaliiskii V.I., Savel'ev N.A. Population Agginities of Neolithic Siberians: A Snapshot Prehistoric Lake Baikal // American journal of physical anthropology. 2006. № 129. P. 349-361.

Mong-Liong Choy. A Stady of the Yongsan River Valley Culture. Seoul. 1984. - P. 202.

Shirokogorov S.M. Social organization of the Northen Tungus. – Shanghai, 1929.

A Tungus dictionary. Tungus-Russian and Russian-Tungus // Pthotogravured from the Manuscripts by The Late Prof. S.M. Shirokogorov. – The Minzokugaku Kyokai. Tokio, Nippon, 1944.

Научное издание
Туров Михаил Григорьевич
Эвенки. Основные проблемы этногенеза
и этнической истории

Ответственный редактор - д.и.н. Г. И. Медведев
Технический редактор - Г. Н. Михнюк

Корректор - В. В. Кожевников
Оригинал макет - И. С. Малахова
Подписано к печати ...
Формат А5
Усл. печ. л. - Учет. изд. л. -

Издательство ООО «Амтера»
664..., Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 203
Отпечатано: .....